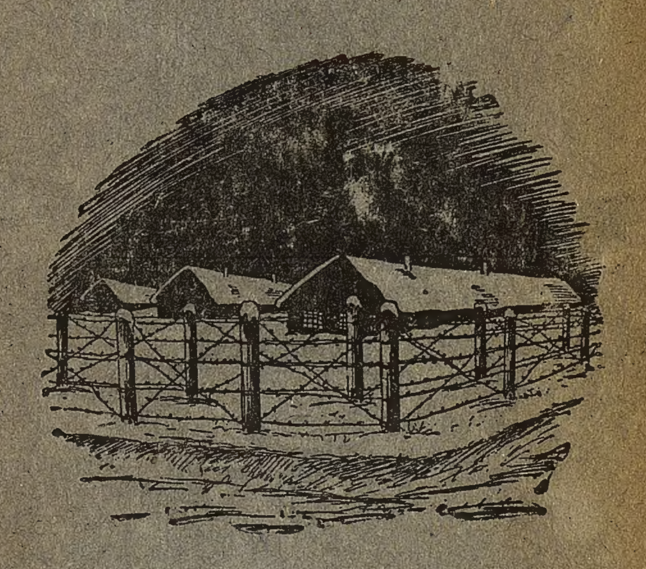
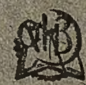
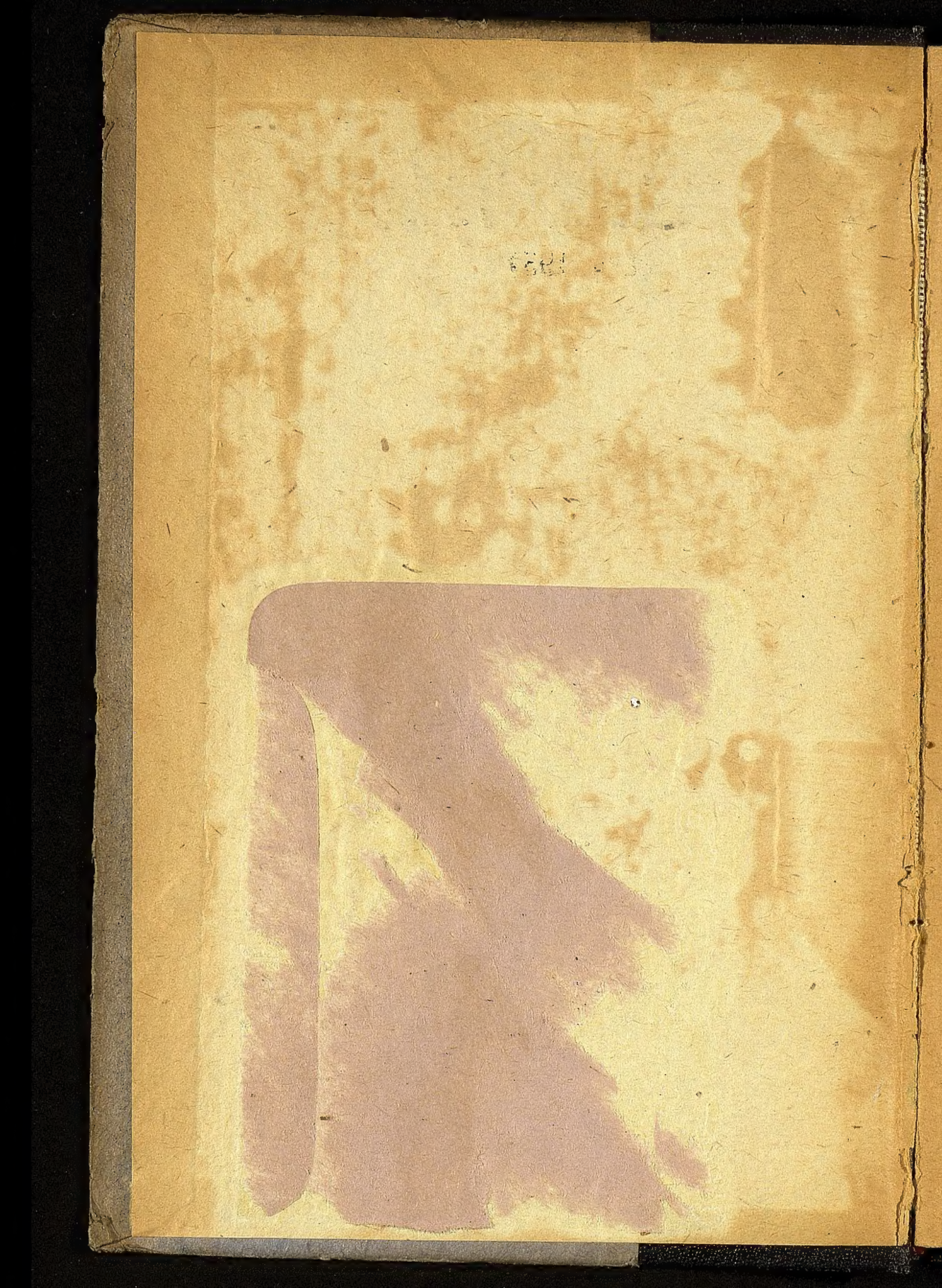
В. Тюкачов

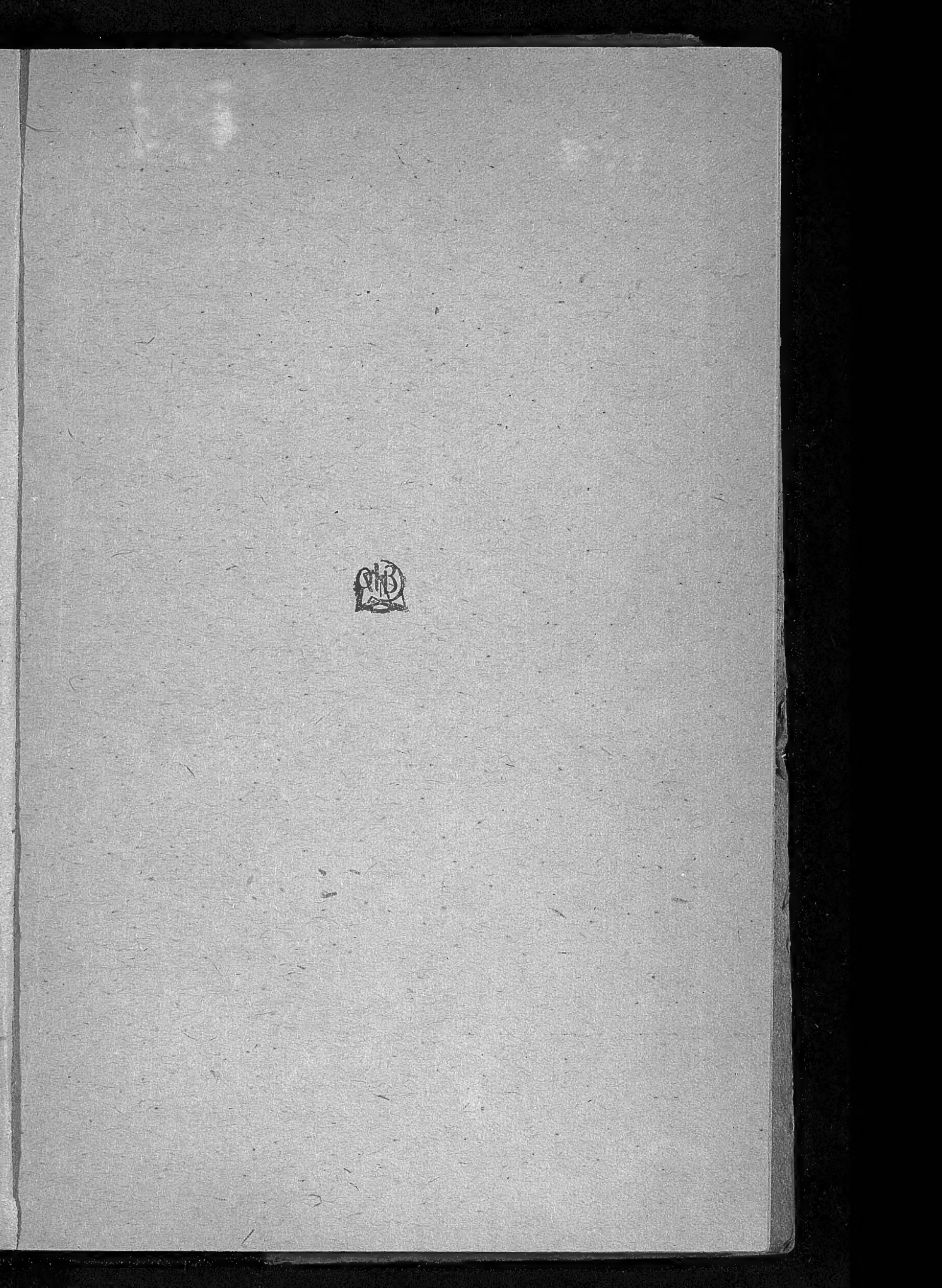
НА ЧУЖБИНЕ





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ





В. А. ТЮКАЧОВ.

В. ТЮКАЧОВ

НА ЧУЖБИНЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИВАНОВО 1937

В. Тюкачов родился в 1897 г. в семье крестьянина бедняка. Двенадцати лет его привозят в Ярославль и отдают на „ученье“ в столярную мастерскую.

Наивным восемнадцатилетним юношей Тюкачова берут на войну летом 1916 г. Через год он попадает в германский плен, а затем, уже из Германии, — во Францию в плен.

После трех лет голодных скитаний, после геройской борьбы Тюкачов, в числе двадцати двух тысяч пленных, 5 сентября 1920 г. вернулся в родную Советскую Россию.

Сейчас же вступает добровольцем в Красную армию, участвует в борьбе с белополяками. По окончании гражданской войны Тюкачов едет в Ярославль. Работает сейчас на Резино-асбестовом комбинате. Член партии.

„На чужбине“—записки о плене.

I

Двадцать один месяц рокочут пушки на фронтах войны. Отощалое, голодное, пожираемое вшами «христолюбивое воинство...

Замеченные опечатки

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
19	1 сверху	такаемо	тикаемо
88	1 „	пербывания	пребывания
120	3 „	Никдевиль	Никцевиль
131	9 „	спустился	опустился

...ередь ехать на фронт. В начале войны я как-то не думал, что и мне придется воевать. Но когда товарищи, только на полгода старше меня, надели шинели и взяли в руки винтовки, — я каждый день, волнуемый противоречивыми чувствами, стал ожидать приказа о призыве.

Столярная мастерская Митюшева, в которой я работал в последнее время, беднела. Все хорошие мастера ушли на фронт. Верстаки покрылись пылью, инструмент ржавел. Не слышно было свиста вылетавшей из рубанков стружки. Не визжали мелкозубки. Тишина эта наводила на меня тоску и уныние.

Высокий, с мясистым лицом хозяин осунулся и сгорбился. Длинные и черные усы его, которые, бывало, лихо закручивались в кольца, беспомощно повисли. Подавлен-

В. Тюкачов родился в 1897 г. в семье крестьянина бедняка. Двенадцати лет его привозят в Ярославль и отдают на „ученье“ в столярную мастерскую.

Наивным восемнадцатилетним юношей Тюкачова берут на войну летом 1916 г. Через год он попадает в германский плен, а затем, уже из Германии,— во Францию в плен.

После трех лет голодных скитаний, после геройской борьбы Тюкачов, в числе двадцати двух тысяч пленных, 5 сентября 1920 г. вернулся в родную Советскую Россию.

Сейчас же вступает добровольцем в Красную армию, участвует в борьбе с белополяками. По окончании гражданской войны Тюкачов едет в Ярославль. Работает сейчас на Резино-асбесто-

I

Двадцать один месяц рокочут пушки на фронтах войны. Отощалое, голодное, пожираемое вшами «христолюбивое воинство» терпит поражение за поражением; гонимое немецкими снарядами, оно отходит все дальше в глубь России.

Пустеют деревни, бурьяном зарастают поля, замирает фабричная жизнь, растет дороговизна, увеличивается нищета.

На защиту «отечества» гонят стариков и безусых юнцов; посылают всех, кто умеет держать винтовку. А оттуда, как из ненасытной пасти зверя, они возвращаются через некоторое время изуродованными и обезображенными...

Наступала и моя очередь ехать на фронт. В начале войны я как-то не думал, что и мне придется воевать. Но когда товарищи, только на полгода старше меня, надели шинели и взяли в руки винтовки, — я каждый день, волнуемый противоречивыми чувствами, стал ожидать приказа о призыве.

Столярная мастерская Митюшева, в которой я работал в последнее время, беднела. Все хорошие мастера ушли на фронт. Верстаки покрылись пылью, инструмент ржавел. Не слышно было свиста вылетавшей из рубанков стружки. Не визжали мелкозубки. Тишина эта наводила на меня тоску и уныние.

Высокий, с мясистым лицом хозяин осунулся и сгорбился. Длинные и черные усы его, которые, бывало, лихо закручивались в кольца, беспомощно повисли. Подавлен-

ный этим запустением мастерской, он становился угрюмым и молчаливым. Посматривая на верстаки с зажатыми винтами, тяжело вздыхая, он засучивал рукава и брался за рубанок сам. Иногда он останавливался, тяжело переводя дыхание, утирал смуглое, с черными глазами, лицо красным платком, смотрел на меня и говорил:

— Ну, если и тебя, Васька, возьмут, — закрою мастерскую.

Хозяин скрещивал на груди руки, оглядывал мастерскую, пыльные верстаки, шкафы, забитые инструментами, — заканчивал с дрожью в голосе:

— А жаль: горбом все нажито!..

Я видел, как продолговатое лицо его подергивалось от волнения, черные глаза — тускнели. Митюшев неторопливо доставал из кармана трубку, выстукивал из нее пепел, набивал махоркой и закуривал.

— Ты Лаврова не забыл? — снова говорил он, выпуская изо рта клубы синего дыма.

— Как же: помню...

— Сейчас он лежит в госпитале, ногу ему оторвало. На всю жизнь теперь калека... Золотой мастер был. Отполирует, бывало, вещь, посадит муху и скажет: «если улетит, — плохо сделал». Муха бьется, бьется, а улететь не может, — так уж гладко и чисто он делал.

Грустно проходили даже праздники. Днем я совершал прогулки по пыльным улицам города, ходил на «ситцевый» бульвар, что был против нашей мастерской и тянулся вдоль Любимской улицы. «Ситцевым» его звали потому, что постоянными его посетителями были рабочие, ткачи. Ярославская знать считала позором для себя гулять на этом бульваре.

В будни на бедном бульваре — хоть шаром покати, зато по праздникам да воскресеньям там кишела самая разнообразная толпа. Меж тощих деревьев, по единственной широкой аллее, плыла бесконечная людская волна. Цветистые платья девушек и женщин сливались с серыми шинелями и защитными гимнастерками солдат. Раненые, с забинтованными головами, ногами и руками, встречались на каждом шагу. Гуляющие сторонились, уступали дорогу раненым, стараясь не задеть забинтованную руку или ногу. Кое-где на земле сидели бывшие воины с оторванными по колено ногами. Они протягивали к проходящим грязные пропотевшие фуражки, а те, тяжело вздыхая, бросали в фуражки гроши.

С Которостльной набережной послышались звуки духового оркестра. Мальчишки вереницей бросились туда. Гуляющие остановились, замолчали.

— Это из Никольских казарм отправляют, — сказал мужчина в штатском. — Каждый день отправляют!..

Музыка слышалась все ближе. Гулко доносился топот солдатских сапог о мостовую. Я шел вниз к Рождественской улице. «Ситцевый» бульвар опустел. Толпа хлынула по Любимской...

Из ворот Никольских казарм, расположенных на Большой Рождественской, шагали шеренги солдат. Серые шинели — в скатку, на ремне — подсумки, туго набитые патронами. По бокам и за спинами — мешки с сухарями, топор, лопата, котелок, — словом, полное снаряжение. Легкий ветер колыхал полковое знамя. Стальная щетина штыков сверкала на солнце.

— Ур-ра! Ур-ра! — закричали с тротуаров, балконов, из окон купеческих домов.

За шеренгой солдат, в клубах пыли, причитая и плача, бегут женщины. У многих на руках маленькие дети.

— Родимый, кормилец ты мой! — слышатся надрывные голоса.

Судорожно сжимая приклады винтовок, стараясь не смотреть на убитых горем жен и матерей, угрюмые солдаты идут по городским улицам к вокзалу: поезд увезет их к немецкой границе, туда, где уже двадцать один месяц рвутся снаряды.

Глубокая тоска овладела тогда моим сердцем. Я долго смотрел вслед удаляющейся серой солдатской колонне. Мне почему-то захотелось встать в эти ряды и шагать вместе в неизвестное будущее. Хотелось уйти дальше от опостылевшей одинокой жизни, в которой не было ничего, кроме беспросветной нужды. Уйти, чтобы не видеть слез обездоленных женщин, худых, оборванных детей.

Низко опустив голову, смотря себе под ноги, я побрел к центру города. Я не замечал прохожих, которые толкали меня. Шел по избитому тротуару и в такт шагам невольно повторял где-то вычитанные стихи:

Все идут не отдыхая,
Бесконечной чередой.
Даль немая, даль глухая
Скрыта серой пеленой.

Глухой удар колокола церкви «святого Власия» оборвал

мои размышленья. Я оглянулся. На приземистой колокольне стояли под колоколом двое мужчин и веревками раскачивали огромный язык.

Земля под ногами вздрагивала от этого звона. К паперти брели старушки в кисейных чепчиках, напыщенные дамы под руку с супругами, чиновники в зеленых фуражках и купцы, которыми славился Ярославль. У каждого было строгое лицо. На паперти все они останавливались, крестились и шли в открытые двери церкви.

На паперти стояли нищие, протягивали худенькие костлявые ручонки дети, одетые в рваные лоскутья. Я смотрел на этих жалких сирот, просящих милостыню, и передо мной вставала сверкающая щетина штыков. Не отцов ли этих сирот угоняли на фронт? Не сыновья ли этих старух-нищих, облаченные в казенную броню, шли защищать «родину»?

Дрожь прошла по моему телу.

С Волги повеяло прохладой и свежестью весны. Я отвернулся от церкви, пересек площадь и по бульвару, боковой аллеей, направился к Волге.

Заходящее солнце золотило вершины лип. На них уже начинали зеленеть почки. Группа гимназистов, насвистывая походный марш, быстро прошла мимо меня. Один из них толкнул в бок так, что я, пошатнувшись, наступил на ногу раненому офицеру и, посторонившись от другого офицера, идущего с сестрой милосердия, нечаянно толкнул даму. Дама тихо вскрикнула, а офицер, провожавший ее, наделил меня таким взглядом, что я долго помнил этот взгляд, полный презрения и злобы.

С детства я видел вокруг себя дикие нравы: кулачные бои, в которых и сам иногда принимал участие, картины кровавых расправ с забастовщиками, пьяный разгул в пивных и трактирах, женщин, «продающих себя» на улице. Я видел жизнь рабочих на окраине города, где они ютились в грязных домишках, лепившихся один к другому. В домишках была безысходная нищета, из которой, казалось, не было выхода.

Я незаметно подошел к ресторану Монахова. Он висел над крутым обрывом, вцепившись в набережную. Широкие окна его глядели на Волгу. Рядом стоял двухэтажный деревянный дом. Здесь прошли три года моего детства. И невольно вспомнил, как брат поручил меня своему шурину отдать в «учение». В этом доме помещалась столярная мастерская Тихомирова.

«Три года, — подумал я, — тысяча с лишним дней и ночей прошли в нужде и побоях...»

В двадцати шагах текла Волга, широкая и прекрасная, но я не видел ее тогда. Подымали меня хозяин и мастера арапником еще до света. Я кормил собак, носил воду (хозяин был страстный охотник), кипятил чай для мастеров, ходил на базар с хозяйкой, варил клей, выносил стружки.

Однажды во время кормления собак я не закрыл за собой дверь псарни и одна гончая убежала. Со слезами на глазах я сказал хозяину о случившемся. Высокий, с широкими плечами и впалыми щеками, покрытыми черной бородой, хозяин взял за руку, привел в псарню и поставил к столбу. Взял арапник:

— Сними-ка штаны!..

Я понял в чем дело. Бросился в ноги хозяину:

— Александр Васильевич! — сквозь слезы взмолился я, валяясь на загаженном полу псарни. Но хозяин не слушал меня, блеснув глазами, он поднял арапник и, приговаривая, стал хлестать меня по тому месту, на котором держались мои штаны.

Я неистово кричал, вздрагивая всем телом, а удары сыпались один за другим. Натешившись вдоволь, хозяин позвал Ошуркова, второго ученика, и велел увести меня.

Тихо всхлипывая, я ухватился руками за Леню Ошуркова и, беспомощный, избитый, вышел из псарни.

...Нагруженный размышленьями о недавнем прошлом, я возвратился к себе в мастерскую только поздно вечером.

II

На Сенной площади — море голов, яблоку негде упасть. Со всех концов Ярославской губернии сюда стеклись рекруты... Против желания их оторвали от родных полей, на которых волновалось золотое море поспевших хлебов. С тоской и злобой расставались они с ними, заливая горе вином.

И вот пьяные голоса, брань, причитания женщин, плач детей, ржание лошадей и суровые окрики унтеров и фельдфебелей — слились в один общий, неопределенный гул.

Из окон Вознесенских казарм шел запах ржаного хлеба и кислой капусты. Во дворе казарм — давка...

— Эй, ты куда прешь?

— А тебе что, — аль тошно?

— Успеешь пулю глотнуть! — раздавались голоса новобранцев.

— Сынок мой, родимый... — надрывалась у дверей приемочной комиссии пожилая женщина: — на кого же ты меня бедную покидаешь!..

Очередь новобранцев тянулась от приемной комнаты по узкой крутой лестнице и обрывалась на дворе, среди сутолоки пьяных и крикливых людей. Бородатый младший унтер-офицер устанавливал порядок. Он отсчитывал по пять человек и пропускал их в комнату с «наставлением».

— Ну, корова, поворачивайся! — кричал он, толкая новобранцев. — Живо, нетесанный. Эй, ты, баба рязанская, — встань в порядок!

Унтер выправлял свою грудь, подымая голову, и гордо обводил презрительным взглядом новобранцев.

— Дяденька, а меня возьмут? — боязливо спрашивал его щупленький паренек.

Унтер отвечал с достоинством:

— Чин надо знать, щенок! Какой я тебе дяденька?

Паренек посмотрел на погоны бородача и сказал тихо:

— Я больной... Брата у меня убили, — осталась одна мать.

— Больной? — вмешался унтер. — Теперь не бракуют. Не таких еще берут. Вот похлебаешь солдатской каши, тогда поправишься...

— Ему и винтовку-то не поднять! — крикнул кто-то и засмеялся.

— Ты уж больно силен, — послышался другой голос: — сухарь морщеный.

— Зато высокий! — подсказал третий. — Ишь, вытянулся, как журавль.

Раздался общий веселый смех, высокий прижался к стене и замолчал.

— Впускай! — послышался голос из-за двери.

Унтер отсчитал пять новых и пропустил в комнату. В эту пятерку попал и я.

В первой комнате у нас отобрали паспорты, записали фамилии, затем направили в боковую дверь, на осмотр. Раздеваясь, я думал, что худей и тощее меня здесь никого нет, но когда посмотрел на остальных четырех новобранцев, то увидел только одного рослого, широкоплечего и здорового. Остальные же имели худые плечи и впалую

грудь. А паренек, что спрашивал унтера, возьмут ли его на войну, без одежды оказался совсем еще мальчиком.

«Неужели возьмут», — подумал я и спросил его:

— Сколько тебе лет?

«Мальчик» обиженно ответил:

— Я думаю, мы ровесники...

— Разве ты не доброволец?

— Такой же доброволец, как ты...

В комнату вошел второй унтер, со списком в руках.

— Степанов! — крикнул он. — Заходи! Остальным встать в очередь!

Рослый парень ушел в приемную.

Мы выстроились в затылок. По счету я был третий. Сзади меня стоял «мальчик». Тонкие посиневшие губы его слегка вздрагивали; на глазах навертывались слезы. Он часто мигал, стараясь не заплакать. На сухой впалой груди заметно выступали ребра.

— Озяб? — спросил я.

— Знобит что-то... — почти шопотом ответил он.

Непонятная тоска овладела мной, когда я вошел в приемную. Сердце сжималось от боли, мысли путались, я не мог даже подумать что-нибудь определенное.

За длинным, широким столом, покрытым черным сукном, размещалась воинская комиссия. Посредине, в кресле, сидел начальник. На мундире у него блестели золотые погоны. Черные усы торчали завитками кверху. Серые холодные глаза пронизывали насквозь того, на кого они смотрели. Я не выдержал этого взгляда и опустил глаза книзу.

Рядом с начальником, развалившись всем грузным телом, сидел член комиссии, представитель городской власти. Он тяжело сопел и поминутно вытирал пот с жирного лба. Голова у него не поворачивалась в стороны. Из-под опухших бровей смотрели маленькие лисьи глазки. Выбритые щеки и подбородок отвисли, как у породистой собаки.

Писарь назвал мое имя, отчество и фамилию, затем зачитал:

— Родился в 1897 году, 28 ноября, в деревне Рудновской Вологодской губернии Тотемского уезда Заборской волости Верховского общества.

Мне казалось, что он произносит надо мной приговор. В глазах потемнело, я видел только воинского начальника да сопящее чудовище от городской власти.

— Место жительства — Ярославль, — продолжал пи-

сарь.— Профессия — столяр. Холост.— Писарь на секунду остановился, взглянув на меня, и снова читал:

— Волос — русый, глаза — серые. Особых примет не имеет.

Врач повернул меня, постучал по груди, лопаткам, посмотрел язык. Затем повернулся к членам комиссии и заявил:

— Здоров.

Воинский начальник кивнул головой, что-то записал в книге, старший унтер-офицер поставил меня под мерку, взвесил и крикнул:

— Рост 30 вершков с четвертью. Корпус 17. Вес сто двадцать пять фунтов.

— Годен! — услышал я роковое слово, которое во весь голос произнес начальник комиссии.

— Пехота! — сказал писарь и вручил мне бумажку.

Покачиваясь, я вышел из комнаты.

Пять минут, которые я провел в приемной, показались мне вечностью. Быстро одевшись, я вышел в большой зал, где собирались партии новобранцев, ожидавших отправки в казармы. А через час мы шли уже по пыльной улице, с песнями, свистом и гиканьем. Рядом со мной шел Виктор Сидоров, «мальчик». Его назначили тоже в пехоту, в одну часть со мной.

В казарме я познакомился с товарищами по несчастью и особенно сдружился с Пашей Костровым и Колей Сурковым. Паша Костров — крепкий, развитой парень из приволжской деревни. Его карие, постоянно улыбающиеся глаза смотрели прямо и дерзко. Он был вспыльчив и упрям. Паша относился к товарищам тепло и отзывчиво. За это в казарме все его очень скоро полюбили.

Стройный и красивый Сурков, с продолговатым, немного смуглым лицом и черными глазами, походил характером на Пашу. Он не любил много говорить, но уважал, когда его слушали.

Мы были одного роста и попали в третий взвод четвертой роты. Спали рядом на соломенных матах. Вставали рано, быстро одевались, становились в строй.

Томительно тянулись первые дни. Нас обучали сложной, но глупой солдатской муштре. Учили вытягиваться в струнку перед офицером, молиться и петь бессмысленные песни.

С утра и до позднего вечера маршировали мы по двору казармы, упражнялись с винтовками, кололи чучела. Из нас готовили пушечное мясо.

Хотелось вырваться из казармы, пройтись по городу, но пускали только тех, кто хорошо научился отдавать честь офицерам, доблестно становиться во фронт перед генералами и широко пялить глотку, выкрикивая приветствия «благородию» и «превосходительству». У меня, Кострова и Суркова к этому способностей и желания не оказалось. А Сурков при встрече с офицером даже отворачивал голову, делая вид, что не замечает его. Поэтому воскресные дни мы сидели в казармах.

Каждое утро наша рота, четко выбивая шаги в такт барабану, маршировала на плацу. Командовал молодой, безусый поручик. Надрываясь, он кричал:

— Раз! Два! Три! Четыре!

Шагая в строю, я наблюдал, как невпопад качались солдатские головы. Молодые солдаты поминутно сбивались, и тогда начиналось издевательство. Издевательство это носило законный характер и никем не возбранялось.

Ротный командовал:

— Смирно! Б-е-е-г-о-м—марш!.. Раз! Два! Три! Четыре! Ро-о-та-а, стой!.. Слушай команду! Ряды сдвой! На-ле-е-во! На-пра-а-во! Гусиным шагом, левое плечо вперед, ша-а-гом—марш! Ра-а-а-з! Два-а-а! Три-и-и! Че-е-ты-ы-ре-е! Ро-о-та, стой!

Это продолжалось иногда по полчаса. Солдаты задыхались, измученные муштрой.

Однажды Костров не выдержал и крикнул:

— Остановитесь!..

Вскипевший ротный подскочил к Паше и дал ему резкую пощечину. Взводному он приказал поставить Кострова под ружье на четыре часа.

Я заступился за Пашу.

— Ваше благородие, за что бьете!..

Что-о-о? — закричал ротный. — Дать ему два часа!..

— Есть, ваше благородие!.. — отвечал фельдфебель, записывая в книжку мою фамилию.

После обеда роту разбили повзводно, вывели снова на плац. На этот раз учили штыковому бою.

В разных местах широкого плаца расставлены соломенные чучела, изображающие противника.

Взвод выстраивали в затылок на расстоянии ста шагов от чучела.

По команде взводного командира солдаты поодиночке, с криком ура, бросались на чучело.

Тарасов с разбегу дал промах, ударил штыком в раму чучела.

— Куда колешь? Отставить! — крикнул подошедший ротный. — Два шага назад! К бою готовсь!..

Тарасов, держа на изготовку винтовку, присел на носки:

— Коли! — скомандовал ротный.

Штык мягко вонзился в правый бок чучела.

— Отставить!.. Коли!.. Отставить!.. Кру-у-гом! Двадцать шагов вперед, ша-а-гом марш!.. Кру-у-гом. К бою готовсь!.. В атаку, ура-а-а!

— Ура-а-а! — надрываясь кричал Тарасов, насквозь вонзая штык в чучело.

После Тарасова пошел Костров, за ним я. И каждого из нас ротный командир заставлял колоть чучело по нескольку раз.

До позднего вечера нас гоняли по плацу.

После каждого занятия солдаты возвращались в темную, грязную казарму измученные, голодные. Набрасывались на вонючие щи, тесаками разрезали сухие буханки черного хлеба. По команде ложились спать на жесткие соломенные маты, в которых кишели клопы и вши.

Вечером после ужина Паша и я встали рядом под винтовку. Взводный скомандовал:

— На-а пле-е-чо! Смирно!

Дежурному по роте строго приказывалось наблюдать за стоящими под винтовкой. Наказанный должен был выстоять два часа с полной выкладкой: четыре кирпича в ранце, три сотни патронов, скатанная шинель, баклажка, котелок, походная лопатка и винтовка на плече. Разрешалось только водить глазами, но ни в коем случае не переступать с ноги на ногу, даже не шевелить пальцами.

— Скотина... — выругался Паша по адресу ротного, расправляя отекшие руки после двухчасовой стоянки.

У меня сильно болели ноги, а ремни ранца, врезавшись в тело, образовали красные полоски на плечах.

— Это первый урок для нас, Паша, — сказал я.

— И ты его получил за меня...

— Ничего, я не обижаюсь, Паша. Надо привыкать ко всему.

Свободное от занятий время солдаты проводили каждый по-своему. Пришивали пуговицы, крючки, чистили винтовки. Собирались группами, говорили о войне.

Среди нас были солдаты, которые, несмотря на свою молодость, с охотой шли защищать «свое отечество», не

верили в поражение русской армии, стремились в бой. Особенно Гусев и Петров, отцы которых торговали мукой в Самаре. Каждую неделю родители высылали им деньги. Фельдфебель их отпускал в город, а они за это приносили ему вино и закуску.

Мы ненавидели этих солдат. Сурков постоянно вступал в спор, он был жестоким противником войны. Костров Паша открыто не высказывал своего мнения, к немцам он не имел никакой злобы, на фронт шел с неохотой, но иногда говорил: «Войны не хочу, а воевать хочется».

Левашов, земляк Суркова, худой, с болезненным лицом, часто по ночам втихомолку плакал. На занятиях он был внимателен. Однако учеба давалась ему с большим трудом. Перед офицерами дрожал, порой готов был прослезиться. Левашов страшно боялся войны, при одном напоминании о бое он заявлял:

— Если отправят на фронт, я оттуда не вернусь.

— Почему же? — спрашивали товарищи.

— Меня убьют, я это предчувствую.

— Не решай судьбы своей прежде времени, — оговаривал Левашова Костров, — и хныкать не следует, подними голову, будь солдатом!..

Что касается меня, то я шел на фронт с одним желанием: увидеть что-то новое, не похожее на то, что окружало меня в столярной мастерской. Я с детства увлекался фантастическими романами и легендарными героями, поэтому мои молодые мысли были наполнены жаждой новых событий и приключений. Недаром Сурков не раз упрекал меня:

— Не рвись к своим приключениям, придет время, плакать будешь кровавыми слезами.

Внутренне я с Сурковым соглашался, однако отвечал ему:

— Плакать не буду, Коля... Почему не итти, когда все идут?

— Не все идут, а всех гонят. Ты понимаешь, нас три брата: старшего убили, средний — инвалид с оторванной ногой, а меня ждет неизвестно еще что.

Эти слова на меня подействовали. Я вспомнил тоже своих братьев. Один недавно прислал письмо из лазарета, второй — где-то на австрийском фронте, уже давно не дает знать о себе, может быть убитый... Мной овладела тоска, сердце больно сжималось. Я молча вышел во двор. Красное солнце садилось за горизонт. Весь запад слов-

но пылал в кровавом пожарище. Мне стало страшно. Высокий забор окружал широкий двор казармы. Там и сям стояли кобылы, турники, соломенные чучела с проколотыми животами. При виде их я вздрогнул, в мыслях блеснуло: «нас учат правильно колоть штыком эти безжизненные чучела, а потом... живых людей...»

Горнист Коваленко заиграл вечернюю зорю. Солдаты строились на поверку. С тяжелыми размышлениями я поспешил в казарму и встал рядом с Костровым.

— Ты где был? — спросил Паша. — Здесь раздавали патроны. Завтра пойдем на стрельбище, — и добавил: — а я еще получил...

— Что?

— Два часа...

— Как же ты?

— Дежурному офицеру не козырнул.

В пять часов утра раздалась команда на подъем. На верхних и нижних нарах засуетились солдаты. Одеваться полагалось три минуты, за это же время должна быть оправлена «постель».

У Левашова пропала одна портянка. Прыгая в одном сапоге, он растерянно бормотал:

— Ребята, кто взял портянку? Кто взял?..

— Ты что прыгаешь босой! — внезапно заорал появившийся фельдфебель. Черные усы фельдфебеля приподнялись, в зрачках вспыхнул злой огонек.

— Портянка, господин фельдфебель!.. — несвязно отвечал побледневший Левашов.

— Портянка?! Эх, баба рязанская!.. На!..

Фельдфебель увесистым кулаком ткнул в лицо Левашова. Из носа брызнула кровь.

— Смирно! Кто приказал вытирать нос?.. — ревел фельдфебель. — Приседай! Ра-а-з... Шире коленки! Ниже опускайся! Два-а-а. Выше... Ниже!.. Пятки вместе, носки врозь!.. Ра-а-аз... Два-а-а...

Рота получала кипяток. Солдаты наспех завтракали, а фельдфебель Шаргунов, сидя на нарах, безжалостно издевался над Левашовым. В десятый раз заставлял его медленно приседать. Дальше бедняга не выдержал: бледный, дрожа всем телом, он упал на цементный пол. Костров бросился к Левашову, схватил его, приподнял и посадил на нары.

— Тебе кто приказал! — вспыхнул фельдфебель.

— Это же издевательство! — не выдержал Сурков.

— Не по закону поступаете! — вмешался и Костров.

— Что-о-о?.. И ты!..— сдавленным голосом прошипел фельдфебель. Его высокая фигура сгорбилась. Глаза налились кровью. — Взводный! — крикнул он. — По два часа каждому с полной выкладкой, под ружье!..

— Есть, господин фельдфебель!..

Во дворе заиграл горн строиться. Каждый солдат брал из пирамиды свою винтовку и выходил в строй.

Прошли три месяца казарменной муштры. Наспех и кое-как нас подготовили колоть чучела и стрелять из винтовок, и первого августа 1916 года, маршевой ротой, отправили на западный фронт.

III

На левом берегу Западной Двины мы остановились лагерем. Нашу маршевую роту влили для пополнения пехотных частей. Наш третий взвод целиком попал в шестую роту стрелкового полка. Здесь окружающая обстановка совершенно изменилась. Старые фронтовики, загорелые бородачи, казалось, насквозь пропитанные порохом, были угрюмы, с красными глазами от бессонницы. Некоторые из них нас встретили насмешками.

— Вояки... — говорили они. — Видно больше некого посылать на бойню из матушки России. Мальчиков пригнали...

— Разве мы мальчики? — обиженно отвечал я запаснику.

— Вояка?.. От первого снаряда напустишь в штаны.

Я вспыхнул, что-то ущемило сердце.

— Да уж и вы вояки... Отступаете. Почему бежите от немцев?..

Бородатый запасник посмотрел на меня, сдвинул картуз на затылок, оглянулся на солдат и насмешливым тоном продолжал:

— Э-э-э. Вон какой... Смотри-ка, сейчас погонит немцев. Только штаны держи, малый, — потеряешь...

Скопившиеся вокруг нас солдаты засмеялись.

— Не дело, ребята, — вдруг произнес с рыжими усами солдат. — Плакать надо, а не смеяться, что наших детей гонят на фронт. Кто в этом виноват? Разве они?

Нет... Они не по своей воле идут, и смеяться не следует.
Эти слова подействовали на солдат. Угрюмые фронтовики опустили глаза. Овеянные ветрами, их лица еще больше нахмурились.

— Ты прав, Иванов... — сказал один высокого роста, с широкой грудью, на которой красовался георгиевский крест.

Наступал вечер. Под блеском зари сверкали штыки ружей, составленных в козла. Дымились походные кухни. Трещали костры. Солдаты жарили вшей, вытряхивая их из гимнастерок. Офицеры отдыхали в усадьбе помещика, сбежавшего в город. Далеко, за потухающим горизонтом, гремели орудия.

Утомленные бессонницей и переходами, солдаты готовились отдохнуть на сухой земле. В ночь мы должны будем выйти на передовую линию и занять окопы.

Костров Паша лежал на спине, по своей привычке заложив руки под голову, насвистывал деревенскую песенку.

Я снял ранец и патронташ, которые с непривычки порядком натянули плечи. Развернул скатку шинели, оделся и сел рядом с Пашей, облокотившись на ранец. С другой стороны Паши расположился Денисов, он не снимал ранца, сидел в боевой готовности, опустив голову вниз, ковырял сухую землю пехотинской лопаткой. Изредка он поднимал черные глаза, вглядывался в потухающую зарю, прислушивался к далекому реву артиллерии.

— Немцы шпарят... — проговорил Ванченко, лежавший рядом со мной. — Крепко дуют... Видно, сорокадвух сантиметровки...

Я посмотрел на Ванченко. Он был невысокого роста, лежал навзничь. Маленькие темные глаза чуть заметно бегали под густыми бровями. Говорил Ванченко больше по-украински, но одновременно употребляя и русские слова. В его мягком голосе чувствовалась теплота, особенно к нам, молодежи, он относился с жалостью. За это мы его прозвали «Дядя Ваня», и он не обижался на это прозвище, а даже уважал, когда его так называли. Дядя Ваня не любил ссориться ни с кем, но если с ним спорили, он настаивал на своем и ни за что не уступал противнику.

— Дядя Ваня, — спросил я, — говорят, сегодня пойдем в окопы — будет наступление?..

— Хиба к цьому привыкаты. Версту вперед — десять назад...

— Зачем же назад? — удивился я.

— А вот побачишь... После кожного наступа мы тикаемо...

— Что тикаемо?

— Ну, бежимо назад... У нас уж так водится. А ты бы, хлопец, лучше лег та заснув, там спаты не придется. Некогда будет. Вишь, як хлопцы храпят!..

Я посмотрел назад. Левашов, Тарасов и Некрасов лежали рядом и крепко спали. Костров тоже заснул.

— Видно, что им тоже натянули плечи лямки ранцев. А почему ты не спишь, дядя Ваня?..

— Я вже привык. По недили бувало не спимо. В голови як черти пляшут и свит кажется жовтым, ноги як чугунные, а все гонят та гонят. Який же це воин, колы витер его болтае из стороны в сторону. Жрать хочется, — патроны выдают. Стреляты надо, — сухари присылают... Вот те и воюй... А як ворвешься в окопы нимцев, — у них и вино и консервы, хлиба вдоволь. А нам наварят сухих овощей, що у нас на Украине свиней кормят, та и гонят на убой.

— Кто же в этом виноват, дядя Ваня?.. — спросил я.

— Хто?! — дядя Ваня повернулся и лег набок, оглянувшись кругом, проговорил шопотом: — Тамо!.. — показал на север, — виновники окопалыся утварью... В тылу сидят... Та що балакаты!..

Дядя Ваня махнул рукой, поправил ранец и положил на него свою голову.

— Ложись, хлопец, та засни трохи.

Темнело. В лагере становилось все тише, солдаты дремали. Я посмотрел на Пашу, спящего все так же — с заложенными под голову руками. Лег на ранец. У меня бродили странные мысли. Недосказанное дядей Ваней о виновниках беспорядков для меня было еще непонятно.

Резкий сигнал горна поднял на ноги весь лагерь. Было совершенно темно, когда я встал с земли. Дрожащими руками надел ранец, подпоясался патронташем.

Тяжело поднимаясь с земли, солдаты молча строились.

...Поздней ночью наш полк прибыл на передовую линию. Стрелять и зажигать огни было строго запрещено. Из-за темноты не было никакой возможности ориентироваться. Мы не знали, в каком направлении находится неприятель. И догадывались об этом только по тому, как был построен наш окоп.

Через соединительные ходы по всем направлениям двигались человеческие тени в шинелях, навьюченные амуницией. Они двигались молча, не произнося ни одного звука, и незаметно исчезали в подземных галлереях. Время от времени впереди нас взрывались ракеты. Тогда ослепительным блеском на мгновение озарялось все поле, изреванное вдоль и поперек окопами.

На всем участке, где мы находились, было затишье. Ни артиллерийской, ни ружейной стрельбы. Только откуда-то издалека, с левого фланга, доносился глухой рокот тяжелой артиллерии, похожий на раскаты грома.

Кудинов, стоявший рядом, повернулся ко мне и в полголоса сказал:

— Бой идет на левом фланге...

— Далеко это? — спросил я.

— Верст двадцать будет. Стреляет тяжелая. А ее далеко слышно.

— Кто стреляет: немцы или наши? — интересовался я.

Кудинов прислушался.

— Трудно определить на таком расстоянии. Но, по-моему, те и другие. Слышишь, один звук дальше, а другой ближе....

Вдруг в воздухе пронесся шум, похожий на шипение раскаленного камня, брошенного в холодную воду.

— Нагнись! — быстро шепнул Кудинов.

Почти над нашими головами вспыхнула ракета и, продержавшись немного в воздухе, рассыпалась.

— Помощью этих светилок, будь какая темнота, немец видит, где мы и что делаем. От его глаз ничто не ускользает, — пояснил Кудинов.

— Как же он может видеть, разве с горы? — наивно спрашивал я.

— Нет, он пускает вверх «колбасу», — так мы называем немецких наблюдателей, они похожи на воздушный шар, только продолговатые, в виде яйца, а внизу — корзина висит. Вот там и сидит наблюдатель. Из корзины телефон на землю проведен и наблюдатель все сообщает, что заметит на наших позициях.

— А почему у нас таких наблюдателей нет?

— У нас?.. — переспросил Кудинов. — У нас тоже есть... только не то, — наблюдатель сидит на дереве, без телефона.

— Как же он передает? — не переставая, интересовался я.

— Что заметит, слезает на землю или его снимают немецкие пули. Ну, тогда ясно, что немцы недалеко...

Кудинов засмеялся своим тихим голоском. Другой сосед, стоявший левее меня, прислушался к нашему разговору, придвинулся ближе! Я положил винтовку на насыпь и обернулся спиной к стенке окопа.

— С винтовкой будь осторожен, малыш! — заметил Кудинов. — У нас был случай, один солдат вот так же положил винтовку на насыпь, а там был песок, верно камешек и попал в ствол. Когда стал стрелять, винтовка разорвалась. Затвором ударило его в лоб, — и как не было, даже не вскрикнул.

Я взял винтовку, встряхнул вниз дулом и поставил к ноге. Мы еще долго разговаривали шопотом, прижимаясь к стенке во время взлета ракет. Я интересовался жизнью на фронте и поэтому задавал множество вопросов старым фронтовикам. Они охотно отвечали, учили меня, где надо быть осторожным, а где смелым.

Проходила ночь. Сквозь туман, подымающийся с низовьев и обволакивающий землю, начинало пробиваться утро. Наступал первый день новой, окопной жизни. В мутном рассвете я старался разглядеть все, что окружало меня. Передние стенки окопа местами были укреплены хворостом. Это предохраняло их от обвала во время взрыва снарядов и размыва воды весной. В иных местах окопы были для моего роста слишком глубокие. На передней стенке окопа, обращенной в сторону противника, возвышался земляной вал. В нем были проделаны отверстия для стрельбы и наблюдений. Чтобы разглядеть местность, окружающую нас, надо подняться выше на целую голову, ато еще больше. Но так как этого не разрешали, то мы видели только в свои отверстия земляные валы второй и первой линии. Дальше сквозь туман виднелось проволочное заграждение и за ним окопы противника. На задней стенке окопа земляных валов не было и поэтому, если бы не туман, можно было разглядеть местность гораздо дальше. Там были окопы четвертой линии, пятой и т. д., которые изрезали все поле на несколько верст. В каждом окопе, как и в нашем, в задней стенке вырыты землянки; они обложены толстыми бревнами, а поверх их нагроможден хворост и мешки с землей. Ходы в землянку настолько узки, что широкоплечему солдату надо протискиваться боком в эту нору.

Чтобы не заметил противник передвижения войск, для

этого каждая линия окопа была соединена поперечными ходами и через них, не вылезая наверх, можно пройти на десяток верст в тыл. Только через соединительные ходы имелась связь резервов с передовой линией. Через эти же ходы приходила смена солдат. По ним отправляли раненых, уходили сменные на отдых.

Целую ночь и утро, пользуясь затишьем, двигались солдаты, направляющиеся на передовую линию. Навстречу им шли только-что смененные фронтовики. Все они были навьючены казенной покладью, оружием; двигались с темнокрасными лицами, всклокоченными бородами, слипшимися от грязи и бессонницы глазами.

Несколько часов стоянки в окопах прошли спокойно. Это ободрило нас. Первоначальный страх, охватывающий каждого новичка на передовой линии, постепенно исчезал. Костров Паша, стоявший недалеко от меня, уж беспокоился насчет запоздавшего завтрака. Он обернулся и спросил своего соседа по окопу:

— Когда здесь подают завтрак-то?

Его сосед, человек с рыжей козлиной бородкой, посмотрел на Пашу и хриповатым голосом ответил:

— Рано проголодался, парень! Посидишь суток двое и без завтрака.

— Двое суток? — воскликнул Паша. — Нет уж извини: у меня сейчас в животе пискотня начинается...

— Подтяни, парень, ремень потуже, — засмеялся другой солдат, Петров, — тогда перестанет пищать в животе. Мы так всегда делаем. Аппетит отгоняем...

— Уж ты сам подтяни, а я голодный не буду сидеть! — злился Паша.

— Смотри-ка, петушок явился какой. Подожди, парень, скоро твоя прыть-то остынет, не это запоешь, — говорил Петров.

— Молчать не буду. Что полагается — надо требовать!

— По-вашему, голодному воевать? — поддержал Пашу Сурков, осматривая Петрова.

— Не по-нашему, а так по их выходит... — ответил Петров, встряхивая козлиной бородкой. — Разве мы хотим голодать?..

— Прекратить разговоры! — вдруг раздался голос неожиданно появившегося ротного.

Я оглянулся и увидел подпоручика. Раньше этого маленького с коротко подстриженными усами офицера я

еще не видел, так как нас влили в старую роту, как пополнение, только вчера, а ночью уже отправили в окопы. На подпоручике была темносерая шинель, обтянутая ремнями, сабля и разные кожаные сумки по бокам. На груди висел бинокль и георгиевский крест, что обозначало его храбрость. Темные, пронизывающие глаза с черными бровями и смуглое, выветренное суровое лицо внушали некоторый страх к нему у новичков.

— Взводный! — крикнул ротный.

Лобов, постоянно находившийся в «голове» правого фланга взвода, отлучался по естественной надобности. Услышав окрик ротного, Лобов поспешил в окоп. С расстегнутой шинелью и с ремнем в руке он вытянулся перед ротным и взял под козырек.

— Правил не знаешь? — закричал ротный. — Что за разговоры у тебя во взводе! Где ты был?..

— Виноват, ваше благородие. Отлучался...

— Приведи себя в порядок!.. Прекратить разговоры!

— Слушаюсь, ваше благородие! — отчеканил взводный и уступил дорогу ротному, направляющемуся на правый фланг роты.

— Ушел, — шепнул мне в ухо Кудинов. — Молодой, а строгий. Страсть любит дисциплину...

— Кто это? — переспросил я.

— Да ротный-то, говорю, сильно строг. Вот взводный — парень душа. Зря не нападет на человека...

Я посмотрел на взводного: это был человек с широкими плечами, с окладистой бородой, обрамлявшей смуглое лицо. Лобов застегнул шинель, подпоясался, обошел ряды своего подразделения, посмотрел вслед удаляющемуся ротному и, не произнеся ни слова, встал на правом фланге взвода, никому не сделав замечаний. Солдаты продолжали разговоры шопотом.

— Он старый фронтовик? — спросил я Кудинова.

— Взводный? Да, третий год я с ним вместе, — ответил Кудинов.

К полдню туман рассеялся. Прочистилось голубое небо, засветилось солнце на штыках винтовок, лежавших вдоль земляной насыпи. Стали ясно вырисовываться линии проволочных заграждений и поле, изборожденное подземными галлереями. Местами виднелись бугры и воронки от взорвавшихся снарядов. Ружейной перестрелки попрежнему не

было. Загадочное затишье царило на всем участке. Старые фронтовики говорили, что это перед грозой.

В полдень мы получили распоряжение позавтракать. Так как кипятку и хлеба не привезли, то мы развязали свои ранцы и достали провизию. Пользуясь затишьем, проголодавшиеся, мы с жадностью грызли сухари, закусывали консервами, которые получили перед выходом в окопы.

— Спасибо немцам, что не беспокоят нас бомбардировкой, — сказал Кудинов шутя, разламывая сухарь. — Позавтракаем спокойно.

Он раскрыл банку и грязными пальцами клал в рот консервы.

Дядя Ваня что-то нюхал, внимательно разглядывая содержимое банки, и ворчал про себя.

— Ты чего смотришь, не ешь? — спросил его Денисов.

— Я гадаю: чи исти, чи ни исти?

— А что там такое?

— Червячок в полдюйма, но так як вин мертвый, гадаю — вреда не принесет моей утробе. — И дядя Ваня сует консервы в рот.

Сурков посмотрел в свою банку и, скривя губы, выбросил ее за насыпь.

— Гадость, — выругался Сурков. — Червяками кормят...

Он облокотился на стенку окопа и стал грызть черные сухари.

— У тебя видно, парень, желудок из благородных? — подсмеивался высокий Филиппов, очищая пальцем уже порожнюю банку. Сурков быстро повернул голову в его сторону, хотел что-то сказать, но в этот момент грохнул артиллерийский выстрел. Над головами прожужжал снаряд и с треском разорвался позади нас. Стенки окопа вздрогнули, в воздух взлетел черный клуб дыма. В окопы посыпался песок и комья земли. Все встрепенулись. Левашов от испуга упал, Костров споткнулся через него и ударился о стенку окопа, рассыпав последние сухари. У дяди Вани комком земли выбило из рук банку.

— В ружье! — скомандовал взводный.

Мы бросились на свои места. Я поспешно спрятал сухари в карманы, выбросил консервы, схватил винтовку и прильнул к насыпи.

— Вот так всегда, — заговорил Кудинов вполголоса. — И словно кто немцам сообщает. Как только расположимся завтракать или обедать, так и начинает пускать пилюли...

Второй разрыв снаряда прервал разговор Кудинова. На этот раз он разорвался на левом фланге, саженях в 30 от нас. За ним последовал третий, четвертый, пятый и вскоре голубое небо огласилось ударами грома. Солнце застилало густым дымом. Земля начинала беспрерывно вздрагивать, образуя бугры и воронки. Шум, треск, свист и грохот несся со всех сторон. Мы стояли, прижавшись к стенке окопа, потрясенные страхом. Вот впереди нас вырывается клуб черного дыма, за ним второй, третий, — и каждый из них сопровождается оглушительным гулом. Все пространство заволакивается густым облаком дыма. Задняя стенка окопа внезапно обрушивается, придавив мои ноги. Я обертываюсь, пытаясь освободиться из-под земли, но падаю вниз лицом. Страшный треск оглушает меня. Петров взмахивает руками, бросает из рук винтовку и падает рядом со мной. Его козлиная бородка клинышком торчит вверх, а голубые глаза, полные ужаса, устремляются неподвижно в темное небо. Кто-то перепрыгнул через него и тоже рухнулся на дно окопа. Я приподнялся и увидел Филиппова. Он лежал, уткнувшись лицом в рыхлую землю, а из-под шинели струилась теплая кровь, пальцы его рук конвульсивно сжимались и разжимались, набирая полные пригоршни земли. Со всех сторон слышались стоны раненых.

Началось наше отступление. Немцы, вероятно узнав об этом, еще ожесточеннее начали осыпать нас градом шрапнели. Среди нас возникла паника. Мы бежали узкими ходами, спотыкаясь о бугры взбороржденной снарядами линии. Убитые, раненые, ружья, пулеметы, разорванные проволочные заграждения задерживали бег.

— Следовало бы только открыть огонь нашей артиллерии и перевес был бы на нашей стороне, — говорил Кудинов, бежавший позади меня.

— Тут яка-сь чертяга действуе, — ворчал дядя Ваня, кувыркаясь из одного окопа в другой. Я не отставал от него и слышал, как он, тяжело дыша, ругал командование. Офицеров он называл «тепами да растепами».

Неизвестно сколько времени мы так бежали. Наконец, нас остановили. Солнце уже клонилось к горизонту. Мы заняли новую позицию со свежими окопами. Во взводе, роте и во всем полку творился полнейший хаос. Ротные командиры потеряли свои роты. Во многих взводах не было взводных. Солдаты других частей присоединялись к чужим ротам.

Наш взводный Лобов, оставшись невредимым, привел

нас в порядок. Но когда он вынул список и начал перекличку, то пришлось вычеркнуть из списка половину фамилий.

Стрельба еще не прекратилась, и нам пришлось вновь зарываться в окопы. А ночью прошел слух, что перед утром будет наше наступление. Все солдаты чувствовали себя напряженно. Некоторые молодые потихоньку плакали, другие, наоборот, находились в каком-то странном возбуждении. Я впервые почувствовал, что мной овладевает сильное волнение. По телу пробегала дрожь — зуб-на-зуб не попадал.

«Что это? — жадно всматриваясь в темноту ночи, подумал я. — Испугался, струсил?»

Я посмотрел влево. Коля и Паша стояли рядом, упершись грудью в земляную стенку окопа, и при виде их мне стало веселее.

Еще было темно, когда с нашей стороны затремели орудия. Низко над окопами, над самыми головами солдат, с визгом проносились тяжелые снаряды; где-то далеко, на неприятельской линии, падая с глухим гулом, рвались.

Неприятель упорно молчал и этим ставил наше командование втупик. Кто его знает, где он находится! Видно было, что и артиллерия не знала, где немецкие войска, и стреляла наугад.

Справа, на горизонте, слышится как бы рыкание разъяренных львов. Это взрывы наших снарядов, от которых стонет земля. Беспрерывно вспыхивают по всей линии огни выстрелов. Зловещее красное зарево от взрывов мин и торпед озаряет глубину неба. Глухо вдали и четко вблизи слышен сухой, бездушный треск пулеметов. Изредка яркий сноп света прожектора прорезывает туманную даль, ища неприятельский аэроплан.

Сквозь густой туман прорезался серый рассвет наступающего дня. Впереди ничего нельзя было разглядеть, все утонуло в этой серой пелене тумана.

Артиллерийский гул, доносившийся сначала с правого фланга, вскоре прокатился по всему фронту и перешел в сплошную канонаду. Однако с неприятельской стороны попрежнему молчали батареи. На левом фланге началась ружейная перестрелка. По цепи передали готовиться к бою.

— В атаку пойдем. Крепче держи винтовку, малыш, а то

немец распорет брюхо, — сказал мне рядом стоявший солдат Кудинов.

Я посмотрел на него и его грудь с георгиевским крестом и подумал о храбрости. В мыслях блеснули соломенные чучела, которых мы безжалостно кололи во дворе казармы, и я вздрогнул.

— В рукопашную? — робко переспросил я Кудинова.

— Да, в рукопашную... Только в таком бою мы и побеждаем. Немцы боятся русской атаки...

— Но ведь и они тоже колоть будут?

— Еще как! Только не надо зевать. Я говорю, они трусят, не подпускают к рукопашной...

— Почему же они молчат, не отвечают на наши батареи? — спросил я.

— Когда у нас кончатся снаряды, и они будут стрелять. Так уж водится... — ответил Кудинов, поправляя патронташ.

С восходом солнца туман стал реже, он, постепенно отделяясь от земли, поднимался вверх, образуя густые облака.

В восемь часов утра раздалась команда наступать. Робко полезли из окопов солдаты. Я взглянул на товарищей. Левашов с бледным лицом, широко открытыми глазами, полными ужаса, выпрыгнул из окопа, перекрестился и, сгорбившись, побежал. Сурков и Костров Паша бежали недалеко друг от друга. Я старался не терять их из вида. Мы неровной цепью побежали по кочкам, ухабам и лужам. Пробегали несколько саженей, ложились и прятались за кочки. Неизвестно, долго ли бежала наша цепь, но вот мы услышали треск пулемета. Сначала думали, что это стреляют с нашей стороны, но неожиданно два солдата, бежавшие недалеко от меня, выронили из рук винтовки и без крика упали на землю.

За ними упал третий, мой сосед: он вскрикнул, схватился за глаз и через его пальцы брызнули густые струи крови. Он упал вперед, не выпуская из руки винтовки. Еще долго я слышал позади себя его страшный мучительный стон. Убитые, раненые все падали и падали, а мы бежали вперед, держа ружья наперевес.

Оказалось, что неприятельские окопы находились на опушке леса. Туман исчез, взошло солнце. Видно было, как над немецкими окопами то-и-дело взлетал пороховой дым от пулеметов. Чем ближе приближались мы к неприятелю, тем ожесточеннее стреляли пулеметы. Потом на нас градом

посыпались ручные гранаты. Они рвались под ногами солдат и перемешивали их с грязью.

Я бежал, не чувствуя под собою земли. В пороховом дыму, в грохоте гранат, в стоне раненых и умирающих товарищей я ничего не видел вокруг себя. Ни одной минуты я не задумывался, зачем я бегу. Убивать я никого не собирался, бежал потому, что велели бежать. Но вдруг по цепи, как гром, прокатилось «ура». Стрельба в окопах немцев мгновенно прекратилась, я увидел, что навстречу нам бегут, сверкая стальными шлемами и выставив вперед широкие лезвия штыков, немецкие бойцы.

Цепи сомкнулись... Две живые лавины устремились друг на друга. В этой каше я бросался то вперед, то назад, спотыкаясь о тела, втоптанные в землю.

Сердце глухо стучало в груди... Руки судорожно сжимали винтовку. Вдруг перед глазами мелькнуло широкое лезвие штыка. Что-то большое и темное надвигалось на меня. Напрягая последние усилия, я вонзил штык... Что-то рухнуло мне под ноги. Перепрыгнув, я внезапно упал в яму.

Тело дрожало, словно в лихорадке, щеки горели... Я бессознательно сжимал винтовку и долго не мог опомниться... Взгляд мой случайно упал на штык. На лезвии его запеклась кровь...

Контратака кончилась. Противник отступал. Наши заняли его окопы и укрепились в них. Но не прошло и получаса, как зарокотали немецкие пушки. Германские орудия нащупали только-что занятые нами окопы.

Тяжелые снаряды уничтожали все...

Началось наше отступление. Бежали, сгорбившись... Рядом со мной с окровавленной щекой бежал Паша Костров.

Отступление длилось весь остаток дня и всю ночь. Уже далеко позади мы оставили окопы, в которые я упал во время атаки, а отступление не прекращалось. Немцы, преследуя нас артиллерийским огнем, шли по пятам.

Остановились мы на опушке леса. Наскоро укрепились. Подсчитали потери...

От полка после боя остались две роты.

Старые фронтовики ругали начальство. Как я узнал после, вовсе не надо было итти в эту бессмысленную атаку, не имея поддержки с тыла. Командир взвода Лобов рассказал, что наша разведка попала в ловушку. Она сообщила командованию о малом количестве немцев и от-

сутствии батарей на участке. Кроме того, немецкие окопы были искусственно замаскированы вдоль опушки леса. Со стратегической стороны место для атаки было выбрано неудачно.

Мы шли по ровному полю, на виду у немцев, без всякого прикрытия.

— И так всегда... — говорил Кудинов: — нас бросают в бой, под открытый огонь противника, без всякой цели.

— Но как же иначе, — с любопытством допрашивал я старого фронтовика, — если немцы сидят и молчат? Наступать-то надо?..

— Надо, да не так надо наступать. Вот побудешь с месяц, понюхаешь пороху, поймешь, где надо, а где и не надо наступать.

— Ты давно на фронте?

Кудинов махнул рукой, потянул свои длинные черные усы, вынул из кармана шинели кисет с табаком, скрутил из письма цыгарку, закурил.

— Сотое письмо докуриваю. Дням счет потерял...

— Много раз был в рукопашной?

Кудинов поднял винтовку и показал на ствол.

— Посчитай... После каждой атаки я делаю отметки.

На прикладе я насчитал двадцать одну царапину ногтем.

— И остался жив?

Я посмотрел на смуглое загорелое лицо Кудинова, покрытое сплошь волосом. Из-под густых бровей светились добрые, ласкающие и в то же время бесстрашные, привыкшие ко всем ужасам глаза. Эти голубые добродушные глаза двадцать один раз смотрели в лицо смерти. Эти корявые черные руки двадцать один раз несли винтовку в рукопашный бой. И он жив... А я один раз испытал атаку и больше никогда не хотел бы ее видеть.

— Так вот, малыш! — перебил мои мысли Кудинов. — Учись воевать!..

— Почему же мы отступаем? Несем поражение за поражением?.. — после некоторого молчания спросил я.

— Наше начальство... — и Кудинов, приподняв руку, как бы угрожая пальцем или кого-то остерегаясь, безразлично махнул: — никуда наше начальство не годится!

— Вот видишь, — продолжал он, — мы сейчас стоим по опушке леса. Впереди версты на три тянется поле. В конце, вон там слева, деревушка стоит, а за ней овраг и потом возвышенности. Там, безусловно, сидят немцы.

Кудинов, рисуя расположение фронта, показывал рукой то в одно, то в другое направление. К нам подошли Сурков, Костров и еще несколько солдат, — остановились позади, слушали Кудинова. А он спокойным голосом продолжал рассказ:

— Немцы не бросят свои войска вот при таком расположении фронта, прежде чем артиллерия не разобьет наши укрепления, а они бьют без промаха. Наше же начальство не считается с солдатами. Тысячами погибает наш брат зря...

Кудинов замолчал. Сурков поставил винтовку к земляной стенке окопа, сел на ящик из-под патронов и глухо, но твердо сказал:

— Н-да. Без толку все делается...

— Наши полковники хотят щегольнуть доблестью русской армии, — вмешался в разговор Иванов, — да никак у них это не получается. После каждого сражения приходится уносить пятки в тыл.

— Это правда, — поддержал его Денисов. — Прошлый год командир дивизии генерал Громов завел свои полки под Ковно в непроходимое болото. Что получилось? Мы в болоте по шею тонем, пузырики пускаем, а немцы обошли по сухой местности, оцепили кольцом... Два полка от дивизии еле ноги вытянули, остальные погибли под снарядами и пулеметным огнем. Разве генерал не знает географию?.. У него карта под носом... Эх... Да что говорить, — Денисов махнул рукой, — там продали, там под убой подставили!..

— Хиба им жаль нашого брата?.. Я теж десяток раз в рукопашной був... Наш брат, если гонют, лезет напролом. Кожний раз побеждаемо в атаки, а потом пятки смазываемо. Почему? Та потому, що начальство не гадае, що може буты посли атаки. Можно чи удержатысь. За два роки фронтового життя я добре зразумив, що можно, а що нельзя браты приступом. Теперь ще хуже. Нагнали хлопчиков, думают с ними воюваты.

— Ты нас не оскорбляй, дядя Ваня, — обиженно ответил Костров. — Мы молоды, это правда. Но и среди молодых бывают герои.

— Не ты ли гадаешь буты героем? — засмеялся дядя Ваня, и его смех подхватили солдаты.

— А ты думал что — воевать не умею! — вспыхнул Костров.

— Ого!.. Дывись-ко як распетушился! — продолжал

шутить дядя Ваня. — Того и гляди на штык посадит, як Козьма Крючков.

Громкий смех вырвался из окопа, солдаты смеялись на шутку дяди Вани, а Костров готов был броситься на него и вцепиться в черную бороду, вырвать большие усы.

— Не к месту шутки, ребята, — спокойным голосом произнес Иванов, — а ты, дядя Ваня, зря нападаешь на парня.

— Та як же, хиба мени ни обидно. Я старый вояка, а у него еще мамкино молоко на губах... А ще хто я!

— Он скоро получит за усердие деревянный крест! — крикнул Денисов дяде Ване и засмеялся.

— Иван Миронович! — хлопнув по плечу дядю Ваню, с укором в голосе сказал Иванов. — Волос седеет, а ты с парнем связываешься.

— Да ведь я в шутку, Иванов, жаль мени хлопцев. Ни за що гинут.

Вечером дядя Ваня подошел ко мне и встал в промежуток с Кудиновым.

— Хлопец, — заговорил он, — твий товарищ того... Горяч больно.

— Это кто, дядя Ваня?

— Костров-то, кажу, як на меня бросился.

— Напрасно обижаешься, дядя Ваня. Паша очень хороший и добрый товарищ. Оба вы погорячились...

— Я це бачу, що вин добрый хлопец. Но як же, посуди сам, колы вийна опротывила за два роки и дывиться на нее не хочется, а вин ще заступается...

— Не за войну он заступается, дядя Ваня. Нет... Сам за себя. У него странный характер!..

IV

В октябре начались дожди. Осенние облака, опустившись низко-низко, мчались на юг, раздираемые злым и пронизывающим ветром. В тумане утонули поля, деревни и кривые линии окопов. После долгой засухи земля, напитавшись влагой, разбухла. Бежали ручьи, наполнялись водой воронки, образовавшиеся после взрыва снарядов. Не укрепленные хворостом стенки окопов размокали и глина сползала под ноги солдатам, образуя болото.

Так по нескольку суток стояли мы по колено в воде в полном неведении, что будет завтра. Томимые бессонницей,

ежились от холода. Брезентовые голенища сапог пропускали воду, а в дыры забивалась жидкая грязь. Ноги прели и чесались. Некоторые ухитрялись подмащивать себе под ноги снарядные ящики и цинковые коробки из-под патронов. Но это было очень рискованно. Противник, находясь в нескольких саженях, брал на мушку каждую голову, появлявшуюся над окопом.

Между нашими и неприятельскими окопами тянулось проволочное заграждение, защищавшее от ночных нападений. Время от времени трещали ружейные выстрелы. Неприятельские пули жужжали над головой, не принося никакого вреда. Когда наблюдатели замечали неприятелей, пытавшихся обрезать проволочное заграждение, стрельба становилась частой и беспорядочной. Потом наступало затишье и солдаты вновь начинали разговаривать вполголоса.

Артиллерийская перекличка на этот раз нас не тревожила. Неприятельские снаряды рвались где-то далеко, позади нас. Отстреливаясь, наша артиллерия давала знать о своем существовании.

Рядом со мной стоял худой с посиневшим и грязным лицом Левашов. Длинная шинель висела на нем, что на вешалке, полы ее тонули в воде. Мутные и вечно испуганные серые глаза его блуждали. Испытавший все ужасы первой атаки и последующих боев, Левашов вздрагивал при каждом распоряжении ротного и боязливо озирался по сторонам. Стрелял он без прицела, часто закрывал лицо рукой и тяжело вздыхал.

Коля Сурков стоял прямо, плотно сжав губы. Он пристально всматривался воспаленными глазами в туманную даль.

— Это же свинство! — сквозь зубы говорил он. — Третьи сутки не сменяют, стоим под дождем не спавши...

— А ты що, хлопец, гадав? Що нас за людину почитают? — ответил ему дядя Ваня.

— Да ведь и не скотина же мы...

— Ще хуже. Друга скотина лучше живе в теплом хливу, — а мы що?.. Стоимо и ждемо черги, як под убоем.

— Э-э, в конюшню бы, в сено зарыться да вздремнуть немножко! — раздирая рот зевотой, простонал Лапкин.

Денисов посмотрел на него.

— И навозу рад будешь... Ишь, сена захотел!..

— Сволочи! — выругался Паша, вытирая лицо мокрым рукавом шинели. — Блиндажи пустуют, а резервы где-то

застряли, — гоняют солдат с места на место без всякого толку.

По длинным усам Кудинова бежали ручейки, вода стекала за воротник шинели. Он стоял молчаливый и угрюмый, изредка вздрагивая.

Меня дождь промочил до костей. Шинель набухла и от нее было еще холоднее. Война, которой я интересовался по своей молодости, день ото дня становилась отвратительнее. Я думал о потере товарищей после каждого боя, об опасностях, которым мы подвергались ежеминутно. Я чувствовал, что каждый день подтачивает мое здоровье, слабеют мои силы от мытарств и лишений.

Только на четвертые сутки, поздно ночью, сменила нас шестая рота. Мокрые, барахтаясь в грязи, гуськом один за другим пробирались мы узеньким соединительным проходом. Расположились в темном, сыром и тесном блиндаже. Каждый из нас жаждал раздеться, обсушиться, но, к сожалению, это не представлялось возможным. Изнуренные бросаемся мы на заплесневелые грязные нары, счастливые и довольные убежищем. В подземной пещере к запаху гнили, плесени, сырости присоединяется еще тяжелое испарение от мокрых тел, вонь шинелей и кожи, но, привычные уже ко всему, мы, не брезгуя, располагаемся на мокрых досках.

Мутный свет керосинки падал на смуглые лица солдат, мокрые бревна стен и потолка. Вода крупными каплями падала на головы и нары. Сверху время от времени доносился глухой рокот артиллерии. Стенки блиндажа вздрагивали. На это никто из нас не обращал внимания, каждый был рад даже такому убежищу, и на тесноту не жаловались.

Кудинов снял с плеч ранец и патронташ, — на шинели остались беленькие полоски — следы ремней, — распоясался и достал кисет с табаком. На передовой линии курить не разрешалось, зато в блиндаже мы наслаждались курением вдоволь. Смотря на Кудинова, начинают и остальные вытаскивать из-под мокрых шинелей табачницы и замасленные кисеты. А дядя Ваня хранил табак в резиновой трубке от противогаза, и поэтому у него, какой бы дождь ни был, табак сохранялся сухим. Вскоре едкий дым махорки с запахом хлебных крошек и бумаги наполнил помещение. Слабый свет лампочки стал еще более тусклым.

Я чувствовал, как по моему телу бегали насекомые. Подмышками страшно чесалось. От меня пахло прелой, мокрой

одеждой и потом. Я завидовал Суркову, который стоял сгорбившись, а Левашов чесал ему спину.

— Поймал! — вдруг крикнул дядя Ваня и бросился к лампе.

— Что поймал?...

— Паразита!..

Дядя Ваня осторожно разжал пальцы и выпустил на стол свою пленницу. Солдаты столпились у стола.

— Э-э, это никак новой породы, трехцветная!..

— Выпестовал же ты ее, дядя Ваня. Смотрите, как переваливается, что леха с поросятами. А голова на гусара похожа и усы стрелкой.

— Царское отродие, сразу видно!

— Расстрелять бы такую тварину!

— Обожди! Я кормив ее, сам буду и расстреливаты!

— Грызут нас царские вши, — проворчал Сурков, — и пощады нет. Жиреют от нашей крови!

— Не одни вши грызут нас... — ответил Иванов, — от нашего пота и крови жиреют тыловые крысы. Окопались они в тепле, а наш брат — голодай, мерзни, мокни под дождем, сушись на ветру, корми вшей, поминутно рискуй жизнью, — а для кого, для чего? Чтобы тыловым крысам лучше жилось!..

— Правду кажешь Иванов! — зло прошипел дядя Ваня. — Знущаются над нами, як над скотиной, за людину не почитают. По три месяца бани не видимо, белья не получаемо. Эх, щоб нам шомполом не вшей бить, а их!..

— Придет время и их будем бить! — отозвался Сурков. — Война скоро кончится, задрапанный и затасканный солдат подымет голову.

Глаза Суркова засветились. Иванов многозначительно посмотрел на него. Кудинов поднял голову и пробормотал:

— Молодо-зелено, а говорит дело...

При упоминании о конце войны Левашов глубоко и громко вздохнул:

— Скорей бы конец! Поеду к своей матери... она у меня одна, осталась без крова. — Он прислонился щекой к мокрой стенке блиндажа и тоскливо глядел на слабо мигавший огонек.

Узенькие двери блиндажа открылись, снаружи рванулся ветер, вытянулся на миг огонек в лампе. Повеяло вечерней прохладой и сыростью. На пороге, заслоняя всю дверь, стоял взводный Лобов.

— Обед привезли, — гнусаво заявил взводный и добавил: — Кудинов здесь?

— Я! — ответил Кудинов.

— Сегодня в дозор пойдешь!

— Тьфу ты, анафема! — отвязывая котелок от ранца, выругался Кудинов. — Отдохнуть не дадут по-человечески...

Взводный исчез за узенькой дверью блиндажа.

— Ночь на улице, а нам обед привезли, — ворчал Денисов.

За последнее время, кроме сухих овощей и чечевицы, для солдат ничего не варили. Но, до костей продрогшие, окопники рады были и этой похлебке. Мясо с кухни исчезало и солдатам выдавалось изредка, и то неполной порцией.

Ели, не разбирая вкуса, большими деревянными ложками, держа котелки каждый у себя на коленях. Слышалось чавкание, хрустела на зубах морковь, стучали ложки о металлические котелки. Вздрагивали стенки блиндажа, доносился далекий рев артиллерии и треск взрывавшихся снарядов.

— Никак наша бьет? — прислушиваясь, сказал Денисов.

— 12-дюймовка, — заметил Иванов. — Артиллеристы расположились в версте от нас, за лесом, бьют по передовой линии немцев.

— Расчищают путь для нас. Верно готовится наступление, — вставил Костров.

— Вот это торпеда ухает, — сказал дядя Ваня.

— Нет, 175-миллиметровка, — заметил кто-то.

— Больше... слышишь? Снаряд шумит. У 175-миллиметровки снаряды летят с визгом и взрываются с треском.

— Пойду... — буркнул Кудинов. Взял винтовку и, согнувшись, вылез из убежища.

— Надо вздремнуть немного. — Сурков полез на нары. За ним последовали все. Не раздеваясь, прижавшись друг к другу, плотно улеглись на нарах. А над нашими головами, в ночной мгле, ревели пушки, мчались раскаленные снаряды, рвали землю и человеческие тела, перемешивая их с грязью.

Я проснулся от сильного толчка в бок. Лампочка потухла, в блиндаже висела непроницаемая тьма. Мне показалось, что кто-то придушил меня. Левую руку я не мог

приподнять: она была прижата к нарам чем-то твердым и холодным. Товарищи суетились в темноте, слезали с нар, надевали ранцы. Костров зажег спичку и тут только я увидел, что это бревно выпало из стены и придавило меня. Разорвавшийся над блиндажем снаряд видно повредил наше убежище. Стенки его покосились, один угол потолка осел и, казалось, вот-вот обвалится и погребет заживо 20 человек. Я хотел позвать на помощь, но вдруг двери быстро раскрылись, ворвалась струя свежего воздуха и раздался голос взводного:

— Выходи! жи...

Потрясающий гул и треск над головой заглушил слова взводного. Однако мы сами поняли, что грозит опасность быть засыпанными в пещере. Все рванулись в узкий проход, толкая друг друга, стремясь, как можно скорее, вырваться из западни. В этот момент каждый думал только о своем спасении, и нечего было надеяться, что кто-нибудь придет мне на помощь...

Ужас охватил меня. Я не мог произнести ни звука. В голове мелькнула страшная мысль, от которой волосы поднялись дыбом: «Неужели мне суждено быть погребенным заживо!»

Сверху, сквозь толстый слой земли, балок, беспрерывно доносился гул, похожий на раскаты грома. Земля вздрагивала, словно от землетрясения, а стенки блиндажа расползались, все сильней и сильней прижимали меня. И вдруг в тот момент, когда я, оставшись один во мраке страшной могилы, притиснутый холодным бревном, потерял уже всякую надежду на спасение и был близок к потере сознания, — у входа блеснул огонек спички, кто-то подскочил ко мне, схватил за ногу. Это был Паша Костров, — я узнал его по голосу.

Напрягая все силы, Паша уперся плечом в бревно, которое упорно выпирало из стены под тяжестью земли. Я слышал тяжелое дыхание Кострова и попытался помочь ему сдвинуть бревно. Испытывая мучительную боль, я стал медленно поворачиваться на левый бок, лицом к стене, чтобы выскользнуть из-под бревна. Упираясь правой рукой в бревно и понемногу освобождая левую, при помощи Кострова, я, наконец, освободился от проклятых тисков. Костров, не отпуская бревна, крикнул:

— Беги!..

Качаясь из стороны в сторону, словно пьяный, я бросился к двери. Когда свежесть ночного воздуха обдала мое

лицо, я услышал позади себя глухой гул и шум. Стена блиндажа рухнула, а за ней обвалился и потолок. Паша, освободив меня, отпустил бревно в тот момент, когда я выскочил за двери. Сам он успел выпрыгнуть минутой позже меня.

В соединительном окопе я остановился и перевел дух. Привел в порядок шинель, которая была расстегнута; ремня не оказалось, — пришлось подпоясаться патронташем. Винтовка также осталась в пирамиде. Вернуться и взять ее — нечего было и думать. Я сильно волновался, руки и ноги дрожали. В тот момент мне казалось, что смерть от пули или снаряда была бы не так страшна, как смерть под обломками блиндажа.

Паша был также взволнован.

— Я не спал, — отдышавшись, заговорил он, — слушал канонаду. Вдруг где-то близко-близко с гулом и грохотом разорвался снаряд. Меня подбросило на нарах. Что-то треснуло, блиндаж осел. Я первый соскочил с нар. Свет потух, — ощупью нашел винтовку. В это время вбежал взводный. Когда разорвался второй снаряд, я был уже в окопе. Тебя нет. В чем дело? Вернулся обратно и... — Паша вздохнул. — Да, если бы не я, то... лежать бы тебе, Василий.

Я не нашел слов благодарности, нащупал своего спасителя руку и крепко пожал ее. Паша понял меня и ответил мне энергичным пожатием. Безгранично смелый, с пылким сердцем, он был необычайно дорог мне. И мне казалось, что нет силы, которая разъединила бы меня с моим другом, только разве смерть, которая преследует нас по пятам.

— Идем, мы отстали от роты, — сказал Паша, направляясь вдоль окопа.

Когда ослабевал грохот артиллерийского гула, мы различали треск пулеметов и ружейные выстрелы. Позади нас оставалась передовая линия. Дождик перестал омывать окровавленную землю. Сквозь клочья облаков, словно разорванных снарядами, изредка прорезалась луна. Мы шли узким проходом окопа, спотыкаясь среди обломков бревен и досок, расщепленных снарядами. Слева на насыпи лежал солдат, его голова с застывшими стеклянными глазами свисала в окоп. Проход в этом месте был так узок, что трудно было пройти и не коснуться головы убитого, — надо прижаться к другой стенке окопа или согнуться. Паша остановился. Я посмотрел на темножелтое лицо покойника: оно было большое, с широкими скулами, совсем молодое.

— Паша, никак это Лебедев, нашей роты? — сказал я.

— Теперь уж не нашей роты, — ответил Паша, нагнулся, поднял фуражку покойного и закрыл его блестящие глаза. — Возьми! — сказал Паша, отворачиваясь от мертвеца и указывая на винтовку, лежащую рядом.

Я взял винтовку и, согнувшись, осторожно пополз, стараясь не потревожить своим прикосновением вечного сна товарища.

Не прошли мы и десяти шагов, как Паша опять остановился. Здесь соединительный ход был еще уже. Из-за спины Паши я не видел ничего и спросил его:

— Что там?

Паша нагнулся, потом быстро встал.

— Посмотри, этого солдата я где-то видел? — взволнованно сказал он, перешагивая через темнеющий предмет.

Я увидел человека, сидевшего в окопе. Спина его уперлась в один бок стенки, а ноги в другой. Голова склонилась на грудь, фуражка, спавшая на лоб, закрывала лицо.

— Мне кажется, он спит, — сказал я, дотрагиваясь до его головы. — Ты думаешь — он убит?

— ...И не меньше, как два часа тому назад.

Я нагнулся и, посмотрев в лицо незнакомца, невольно воскликнул:

— «Мальчик»! — Паша, да ведь это Сидоров. Помнишь его? С Сидоровым мы обучались вместе в казарме. Его мы называли мальчиком, потому что он был меньше всех ростом!..

— Идем, — тихо позвал Паша.

На опушке леса мы догнали свою роту. Взводный Лобов уже считал нас погибшими, а когда увидел, что мы явились, — сдвинул брови и принял серьезный вид.

— Где вы пропадали? — выругался он, стараясь притвориться строгим, но потом подошел к нам и тихо шепнул:

— Полк-то разбили...

— Чей полк?

— Да наш, говорю, полк разбили. Немцы по окопам открыли огонь из тяжелой. Все смешали с грязью, истолкли, как ступами на мельнице, и людей и окопы. Первый взвод нашей роты целиком в блиндаже засыпало.

— Что же теперь?

— Сидим в лесу. Ждем подкрепления...

Я обрадовался, когда увидел Иванова, Денисова и дядю Ваню, «окопавшихся» около коренастой сосны. Поодаль, у другой сосны, лежали Коля Сурков и Левашов. Они вы-

рыли углубления в земле и залегли в них, как медведи в берлоге, положив винтовки на бугорки.

Паша и я выбрали местечко посуше, также окопались и легли. Позади нас, гремя и ухая, выбрасывая снопы огня, била артиллерия. Над лесом, в котором мы приютились, свистели снаряды; они рвались где-то на неприятельской позиции. Предутренняя прохлада была наполнена смрадом, запахом серы и гниющих мертвецов. По телу пробегала дрожь, лихорадило.

С передовой линии прибывали расстроенные части солдат, остатки рот, взводов, многие из них без командиров. Солдаты инстинктивно держались друг друга, шли группами, присоединялись к чужой роте, окапывались или бросались в ямы.

Перед утром из резерва прибыло подкрепление. Началась перестройка, или, как мы ее называли, «ремонт полка». Роты, взводы пополнялись новыми солдатами, взамен убитых, раненых и без вести пропавших в эту ночь. Несколько раз перегоняли нас с одного места на другое. Наконец мы залегли на опушке леса. Чуть светало... Дождевые тучи неслись над лесом. Неистово грохотала наша артиллерия.

Спешно готовилось наступление.

Пользуясь низкой облачностью и туманом, мы развернутой цепью, вперебежку, один за другим двинулись вперед. Поле, через которое мы шли, было неровное, — на каждом шагу встречались воронки, образовавшиеся от взрыва снарядов. Перекрещивающиеся вдоль и поперек окопы и соединительные ходы затрудняли наши продвижения. Порой мы вынуждены были помогать друг другу перебраться через окопы, залитые водой. Итти становилось все труднее и труднее. Шинель, ранец, пропитанные влагой, облепленные грязью, казались стопудовой ношей. Сказывалось и ненормальное питание, бессонные ночи...

Затаив тоску и злобу, мы шли молча, стиснув зубы. В тумане, окутавшем долину, окопы и людей, я различал лица солдат. Они были одинакового цвета с землей. Я видел, как лихорадочно блестели их глаза, а руки судорожно сжимали винтовки.

На левом фланге началась перестрелка, застрекотал пулемет. Наши цепи остановились, подтянули отстающие резервы. Справа уже доносилось раскатистое «ура». Там началась рукопашная схватка. Под градом пуль мы ринулись, размахивая ручными гранатами. Немцы, застигнутые

врасплох, ожесточенно отбивались из своих окопов, бросали бомбы навстречу нам.

Впереди меня, сгорбившись, бежал взводный Лобов. Вдруг словно из-под земли вспыхнуло пламя. Лобов взмахнул руками и упал на землю. Его искаженное болью лицо с обожженной бородой глядело вверх, а рядом валялись куски ног, разорванных гранатой.

Опрокинув первую линию неприятеля, мы ринулись на вторую. Немцы, забившись в землянки, долго не сдавались. Мы бросали бомбы, и они погибали, не пытаясь бежать.

Потеряв из вида Кострова и Суркова, я держался около Кудинова. Кудинов перепрыгнул через немецкий окоп первой линии, бросился в землянку, где сидели четыре немца. Прижавшись к стенке, они дрожали и молча смотрели на Кудинова. Он высоко поднял бомбу и немцы все разом упали на колени и подняли вверх руки.

— Русь, русь! — закричали они.

— Вылезай! — сказал Кудинов, продолжая держать бомбу навесу.

Немцы, боязливо оглядываясь, вылезли из землянки и снова кинулись в ноги Кудинову, прося пощады. Они говорили быстро и несвязно. Их обветренные лица казались старческими. Из-под стальной каски глядели широко открытые, полные страха глаза.

— Русь, нихт бум-бум! — вопили немцы.

Кудинов вздрогнул, опустил бомбу, оглянулся по сторонам.

— Возьмем в плен, — сказал я Кудинову и, как умел, объяснил немцам: — встаньте, мы вас не будем убивать.

Немцы повеселели, послушно встали и пошли, куда им велели.

Передовые цепи в это время заняли третью линию немецких окопов. Очутившись позади на довольно большом расстоянии, мы решили отправить четырех пленников в резерв. Пройдя поле, через которое мы только что наступали, вошли в лес и остановились. По правде сказать, мы не знали, куда отправить своих пленников. Расположение штаба полка мы также не знали. Передать в другую часть мы не хотели, так как сопровождение пленных нас избавляло от наступления. Если же отпустить немцев и они попадутся, их сочтут за шпионов и тогда в живых не останутся. Поэтому мы решили лучше выждать, когда закончится атака, и выбрав сухое место, сели на траву.

— Садитесь! — сказал я немцам, показывая на землю.

Они сели.

Кудинов достал из кармана махорку, скрутил «козью ножку», закурил и показал немцам, чтобы они тоже закурили. Чувствуя себя с нами вполне свободно, немцы вытащили из боковых карманов длинные кривые трубки, набили их табаком и задымили.

— Хороши у вас трубки, — встряхнув головой, сказал Кудинов. — И табак наверное добрый?..

Немец как бы понял Кудинова, подал ему свою трубку и сказал:

— Карош тапак.

Кудинов взял длинную трубку и затянулся.

— Вот эта да-а! — И на глазах Кудинова выступили слезы. — До печенки пробрало. Ей-бо, еще не куривал такого. Добрый табак. Не то, что наша махра!

Немцы, переглянувшись между собой, засмеялись над Кудиновым, как он жадно глотал дым и вытирал слезы.

Другой немец, с рыжеватой бородкой, предложил мне закурить германского табака. Я не отказался, взял мешочек с табаком, свернул толстую папироску из письменной бумаги, закурил.

— Нейн карашо папир, — сказал немец, показывая пальцем на бумагу.

— У нас карашо, товарищ, — подражая рыжему немцу, отвечал я. — Курительной бумаги не выдают, а таких трубок и в помине нет.

Немец пожал плечами.

— Опьянел без вина, — выколачивая пепел из толстой роговой трубки, сказал Кудинов. — Спасибо, дружище, возьми трубку, — и Кудинов подал ее немцу. — Вас, наверно, и вином поят, хорошей консервой кормят?..

— Я, я! — отвечали немцы.

— Я, я... А что такое — я, я, — не понимаю. Вот так бы и поговорил по душе с вами, а не могу. Не знаю вашего языка.

Немцы смотрели на нас и кивали головой, как бы соглашаясь с мнением Кудинова.

— Вот смотрю я на вас и думаю, — снова начал Кудинов: — зачем мы воюем, убиваем и рвем на куски друг друга? Вы по ту сторону, мы по эту сидим в грязных землянках, словно кроты, мокрые, холодные и голодные, целимся один в одного, стараемся не промахнуться, а вот сойдемся, сидим и говорим, хоть и не понимаем друг друга,

но чувства-то одинаковые. Плохо, что языки-то наши разные!..

— Я, я, — ответили пленники.

— Это значит по-нашему — да, — сказал мне Кудинов. — А дети у вас тоже есть дома? — спросил Кудинов и показал рукой, изображая маленького ребенка. Немцы поняли и отвечали разом:

— Вир хабен цу хаузе клейне киндер... (У нас дома маленькие дети.)

— Ну вот и не понимаю, что вы лепечете, покажите на пальцах. — И Кудинов выставил вперед свою широкую зачерствелую ладонь, намекая немцам, чтобы те показали на пальцах, по скольку у них детей.

— Их ферштее! — крикнул один. — Их хабе фир киндер, — добавил он, выставляя четыре пальца.

— Их хабе цвай, — сказал другой и показал два пальца.

— Их хабе фюнф, — сказал третий, выставив всю пятерню.

— Ого... Целая пятерка... А у тебя? — спросил Кудинов четвертого.

— Нейн, — тихо ответил немец и повернул голову к передовой линии фронта, откуда доносились глухие выстрелы. — Капут! — добавил он и его влажные глаза замигали быстро, быстро. — Бум-бум, капут цвай!

— Ага, понимаю. Значит, два сына убиты на войне. Так?..

— Я, я, капут, бум-бум, — грустно ответил немец, утирая глаза клетчатым платком.

— Ну вот и сговорились, поняли друг друга, а ты и заплакал. Тяжело видно на сердце.

Кудинов так сильно вздохнул всей своей широкой грудью, что даже немцы с удивлением посмотрели на него. Я взглянул в голубые глаза Кудинова, выражавшие отцовскую теплоту, и вспомнил, как час тому назад Кудинов с дикой яростью смотрел на четырех немцев, прижавшихся к земляной стенке, а он, этот Кудинов, стоял с поднятой вверх бомбой и готовился взорвать их. Нет, то был не Кудинов, — то был призрак войны. Этот Кудинов, — настоящий, кроткий и спокойный крестьянин Орловской губернии, с добрым сердцем и открытой душой, высокий, со светлорыжеватыми волосами и такой же бородой, мускулистый, с большими руками земледельца.

— Жрать хочется, — вдруг сказал Кудинов. — Поищу,

не осталось ли сухарей. — И он снял брезентовый мешок, служивший за ранец, развязал веревку, стал тщательно копаться по углам, перекладывая запасное белье, портянки, и разный хлам. А нашел только один завалявшийся сухарик, вынул его и крепко выругался, прежде чем успел проглотить его.

Немцы как бы догадались, что Кудинов собирается поесть, отстегнули свои кожаные ремни и сняли ранцы, сделанные из кожи.

— Видишь, и сбруя-то у вас не то, что наша, — опять заговорил Кудинов. — Ранцы с крышками, — дождя не боятся, ремни широкие, — плеч не режут. Видно ваш — как его? — кайзер лучше заботится о солдате?..

Услыхав слово «кайзер», немцы насторожились, а рыжий воскликнул:

— Кайзер ист нихт гут! (Кайзер не хороший) Бум-бум!...

— Вот опять не понимаю, что такое... Хорош или плох? Знаю, что по-вашему — кайзер, а по-нашему — царь. Наш царь, — Кудинов махнул рукой, — о нас не думает. Вот видишь, жрать хочется, а нечего, хоть землю грызи.

Пленные немцы тем временем достали из своих ранцев хлеб, отрезали по ломтю и подали нам.

В лес стали прибывать воинские части. День клонился к вечеру. Надо было передать пленников и возвращаться в роту.

— Нас занесут в список без вести пропавших, — сказал я Кудинову. — До ночи надо возвратиться в роту.

— Ну, товарищи... или как по-вашему — камрады! Вставайте, пойдем дальше, — заявил Кудинов и перебросил винтовку через плечо штыком вверх. Немцы послушно встали, потоптались на месте, оглянулись по сторонам, как бы спрашивая: «Куда итти»?

— Сюда! — махнул рукой Кудинов, и мы направились по тропинке.

Вскоре очутились на большой ухабистой дороге, изрезанной колесами военных повозок. Из резервов к фронту стягивались обозы, пехота, артиллерия. Навстречу им, с передовой линии, в беспорядке шли легко раненые, которым была оказана первая помощь. В сопровождении санитаров и сестер на повозках ехали тяжело раненые. Под колесами орудий и конских копыт хлюпала клейкая грязь. Лошади увязали по брюхо, артиллеристы крыли матерщиной санитаров, которые упорно не хотели сворачивать в сторону, задерживая продвижение артиллерии.

— Кудинов, — крикнул я, — пленных ведут.

— Вот и хорошо, — оглядываясь ответил Кудинов. — Отдадим своих камрадов, пусть шагают в тыл России. По правде сказать, и я бы с удовольствием пошагал с ними подальше от этой бойни, да верно еще время не пришло. — И крикнул верховому, сопровождающему пленных: — Ребята, возьмите наших! Нам пора в часть вернуться.

— Давай их сюда, больше будет! — ответил верховой.

Немцы молча дружеским взглядом простились с нами и присоединились к своим.

— Прощайте, — тихо сказал Кудинов.

Мы направились в лес по той же тропинке. Вышли на полянку, потом на поле, изрытое окопами и взорванное снарядами. Мне хотелось посмотреть тот блиндаж, в котором моей жизни грозила смерть еще прошлой ночью, но, к сожалению, никак не мог запомнить, в каком это месте было. Все блиндажи сходны один с другим и одинаково разрушены. Раненых после атаки уже подобрали, но мертвецы еще оставались неубранными. Они лежали в разных местах и в разнообразных позах. Кудинов остановился подле одного. Он лежал, растянувшись, упираясь спиной в ранец, а голова его была откинута назад, подбородком вверх. Продолговатого лица покойника еще не касалась бритва. Сквозь открытые губы белели челюсти зубов. Во впадине правой щеки прилип кусок грязи.

— Совсем молодой, — прошептал Кудинов.

— Да, моего возраста, — ответил я.

Чем дальше мы продвигались вперед, тем яснее доносилась перестрелка. Но артиллерия молчала. Лишь изредка где-то на правом фланге ухала одинокая пушка. Впереди рокотали пулеметы, трещали винтовки. Пройдя обозы, походные кухни, мы вскоре оказались на третьей линии. Справившись о шестой роте, мы опустились на дно соединительного хода и направились к передовой линии.

С какой радостью встретили нас Костров, Сурков и дядя Ваня.

— Думал, вже кинец моему хлопчику, — сказал дядя Ваня.

— Лобов убит, — заявил Паша. Но это для меня не было новостью. Лобов погиб на моих глазах и поэтому я только спросил Пашу, кто новый взводный.

— Взводным назначен Тимофеев, бывший командир отделения, а вместо ротного — временно Шаргунов.

— Значит и ротный убит?

— Разорвало немецкой бомбой, — ответил Сурков.

Ночью пришла смена, и наш полк был отправлен в резерв на двухнедельный «отдых».

V

Наступила зима. Обнищалая, оборванная, голодная русская армия отступала по вине командования.

Не имея поддержки с тыла, наш полк не в силах был удерживать участок фронта. Артиллерия осталась без снарядов, солдаты без патронов, кухня без провианта. А на станциях железных дорог стояли сотни эшелонов с военными припасами и провиантом. Они становились добычей немцев. В войсках с каждым днем нарастало негодование. Усталые и голодные солдаты бранили командование...

Когда требовались патроны, на фронт присылали сухари. Когда солдаты по нескольку дней сидели без хлеба — привозили патроны. Вся эта неразбериха еще больше озлобляла солдат. Многие, рискуя жизнью, дезертировали с фронта.

И в моей голове стали зарождаться мысли об ужасах и бедствиях, что приносит война. Я чаще и чаще стал задумываться над этим. Беседы со старыми солдатами — Ивановым, Кудиновым и дядей Ваней помогли мне во многом разобраться. Я начинал многое понимать.

В январе 1917 года наш полк остановился в небольшой деревушке на отдых. Солдаты теснились в халупах, толпились у костров, ловили вшей в провонявшей от пота одежде.

Костров и я долго бродили из конца в конец деревни, от одной халупы к другой в надежде получить теплое местечко для отдыха. Но в каждой хате столько набилось солдат, что мечтать об уютном отдыхе не приходилось. Половину же деревни занимали денщики, ординарцы, кашевары, фельдфебеля, офицеры и квартирмейстеры.

— Чорт знает что! — остановившись по средине деревни, выругался Паша. — Халуи ито теплые квартиры заняли, а нашему брату — открытое небо....

— Хороши квартирмейстеры. Сами себя расквартировали, — ответил я, глядя вдоль улицы.

Полковой обоз, походные кухни расположились на задворках, загромождали всю улицу, а большая часть повозок совершенно не вместилась в деревню, вытянулась

длинным хвостом в поле. Обозники рыскали по сараям, выбирали место для себя и лошадей, расхищали крестьянскую солому, ломали изгороди, разводили костры.

Потеряв всю надежду попасть в халупу, мы стояли среди обоза, не зная куда направиться. Вдруг я заметил бегущего Денисова. Он бежал с огорода, взмахивая руками, спотыкаясь в сугробах снега. Ветер трепал отложные бока папахи, похожие на крылья; длинные полы шинели тащились по снегу. Издали Денисов походил больше на пугало, чем солдата. Глядя на него, мы не могли не рассмеяться. Паша окрикнул:

— Эй, пугало полковое!

Денисов на секунду остановился. Заметив Пашу и меня, пустился к нам.

— Чего стоите, рты пораскрывали! — еще с дороги кричал Денисов.

— А что же делать? — с усмешкой отвечал Паша. — По-твоему, снег топтать да ворон пугать что ли?

— Я сарай нашел. Вас ищу! Идемте, пока не поздно, а то обозники его займут...

Отказываться не приходилось и мы направились за Денисовым. Вскоре все трое оказались в довольно приличном сарае. Не теряя напрасно времени, наломали дров и развели костер. Огонь привлек и других солдат. Паша снял гимнастерку и, размахивая ею над пылающим костром, приговаривал:

— Погибай, вшивое войско, жарься, анафема. Эх, если бы это стадо божье генералу за шиворот, — воевал бы по всем правилам!..

— Русским генералам только со вшами и воевать, — отозвался бородатый запасник.

К сараю приближался фельдфебель.

— Тише, ребята, Шаргунов идет, — остановил смеющихся Костров. — Этот защитник царя и отечества... настоящая сволочь!..

Солдаты смолкли и, сморщась от едкого дыма, занялись своими гимнастерками.

Шаргунов встал у костра, протянул вперед корявые волосатые руки. Запасник Миронов поспешил подставить ему чурбан, услужливо сказав:

— Присядьте, погрейтесь, господин фельдфебель.

Другой солдат, почесывая за пазухой, робко произнес:

— Эх, в баньку бы, господин фельдфебель... Не знаете, когда поведут?

Фельдфебель оглядел говорившего, выдержал паузу и грубо пробасил:

— Выдумал тоже... После бани и к бабам захотите.

— Ну уж нет, господин фельдфебель, не до того теперь. Не время...

Говорившего прервал спокойный и уверенный голос:

— Непонутру нам война-то, ох, непонутру! — Все оглянулись. Облокотившись на ствол винтовки, позади всех стоял Николай Сурков. Сурков спокойно смотрел на удивленных его смелостью товарищей и, не обращая внимания на присутствие фельдфебеля, продолжал:

— ...Сколько зла принесла она! А зачем? — я спрашиваю.

Сурков повернулся лицом к Шаргунову и замолчал, как бы выжидая ответа.

Фельдфебель встал, повернулся широкой спиной к огню.

— Это у тебя что за разговоры? Забыл, где находишься?

— Как можно забыть! Немецкие снаряды напомнят враз, где мы, — насмешливо ответил Сурков.

Фельдфебель, сжимая кулаки, гневно заорал:

— Встать, смирно!.. С кем говоришь?..

— Говорю?.. — спокойно издевался Сурков. — Говорю с ротным фельдфебелем, Шаргуновым.

Глаза фельдфебеля сощурились. Поведение рядового выходило далеко за пределы дозволенного и являлось неслыханной дерзостью.

— Мерзавец! Да я тебя, негодяя, в штаб отправлю!.. — истерично заорал Шаргунов.

Костров Паша не выдержал... Быстро подтянув брезентовый патронташ, он встал позади фельдфебеля. В правой руке Паши дрожала винтовка.

Все молчали. Задыхаясь от бешенства, Шаргунов готов был раздробить Суркову голову... Но в это время в конце деревни раздался резкий сигнал...

— Тревога!

Поднялась суетня. Тушили догоравшие костры. Из сараев и халуп, застегивая на ходу шинели и подтягивая ремни патронташей, выбегали солдаты.

— Ладно, с тобой мы еще поговорим, — угрожающе бросил Шаргунов.

Паша рванулся к Суркову. Тряс его за руку и осыпал бессвязными восторженными восклицаниями:

— Молодец! Спасибо! Здорово ты его отделал...

Сигнал повторился, солдаты строились.

— Ну, Коля, прощай! — крикнул Паша. — Мы еще, я думаю, встретимся и после боя!..

Перед каждым выступлением на передовые линии мы прощались друг с другом. Неровен час, может кто из нас и не вернется из боя. Пожав друг другу руки, мы пошли строиться.

Выстроившись, полк тронулся в боевом порядке опять к передовой позиции.

VI

Проходили дни, недели, месяцы. Наступил март 1917 года. Наш полк находился в окопах. Лениво падал мягкий снег. Свинцовые тучи заволокли небо.

По всему фронту стояло затишье, стрелять не приказано. Солдаты, вытянувшись во весь рост, стояли цепью вдоль кривой линии окопа. В отверстиях, проделанных в снегу на окопной насыпи, торчали штыки.

Настроение солдат было тревожное. Из тыла приходили сообщения, что в столице неспокойно. Солдаты перешоптывались. Каждая новость быстро разносилась по цепи. Офицеры, прислушиваясь к солдатским шопотам, были настороже, покрикивали, требовали дисциплины. А тревога между тем нарастала с каждым часом.

Костров Паша и Сурков Коля незаметно исчезали по ночам из окопа. Возвращались утром, молча становились на свои места. Как мы узнали после, они уходили на совещания. На фронт приехали солдаты от имени петроградских рабочих. Они призывали фронтовиков не воевать с немцами, начать братание.

О свержении самодержавия мы узнали в половине марта. Весть о Февральской революции пришла и к нам, в сырые окопы. С неописуемой радостью встретили мы официальное сообщение о свержении самодержавия.

Но Временное правительство выпустило манифест, в котором призывало фронтовиков поддерживать порядок и быть в боевой готовности.

Солдаты в ответ кричали: «Немцы не враги! Долой войну! Довольно убийства! Братайся!»

Никакая сила муштры в царской армии не смогла успокоить взбунтовавшееся море солдат. На штыках взлетали

вверх солдатские папахи. Над окопами взвивались белые флаги. Вчерашние «враги» протягивали друг другу руки, целовались.

— Камрад, не будем стрелять! — говорили наши.

— Нихт... Не будем, — отвечали немцы.

Русская махорка, немецкие сигары издавали облака дыма над окопами.

В полках и ротах организовывались солдатские комитеты. Солдаты не подчинялись офицерам. Дисциплина падала с каждым днем.

В одиночку и партиями солдаты стали дезертировать с фронта.

А время катилось вперед. Грело солнце, бежали ручьи, колокольчиком звенела вода, заливая окопы, блиндажи, траншеи. Пели жаворонки, просыпался лес. Наступала весна. Радостью горели ветрами овеянные солдатские лица.

— Конец! Конец кровавой бойне! Долой войну! Домой, домой!.. — слышалось все чаще.

— Камрад! — кричал Паша Костров немцу. — В России революция. Понимаешь? Солдаты буб-бум правительство! Ну, как это по-вашему?..

Немец кивал головой и быстро отвечал:

— Я, я, камрад, царь капут...

Костров, Иванов и я собирали русских солдат, шли туда, где было больше немцев, и при помощи жестикуляции пытались растолковать, кто наш враг. Показывая на русского и немецкого солдата, мы говорили:

— Мы не враги, а враг тот, кто заставил нас убивать друг друга. Капиталисты наши враги.

Немцы смеялись, смеялись и русские, — они понимали друг друга.

Каждое событие нового дня для меня было новостью. Прислушиваясь к разговору старых фронтовиков, мы, молодежь, черпали новые знания. И те мечты, которыми я горел несколько месяцев назад, желая победы русской армии, рассеялись.

Настало лето.

Все еще молчали батареи, на дулах были натянуты чехлы. И вдруг, словно громом, поразило прилетевшее известие: «В Буковине по приказу Керенского началось наступление».

Немцы покинули нас и ушли в свои окопы. С пушек

снимались чехлы. Заряжались винтовки. Над фронтом опять нависла гроза.

В конце июля 1917 года вновь зарокотали пушки, затрещали пулеметы. Немцы перешли в наступление. Русские с неохотой, отбиваясь, отступали в тыл.

VII

Рига в руках немцев. Литву и Латвию заполнили пруссаки. Немцы двигались вдоль побережья Балтийского моря, угрожали Эстонии и Финляндии.

Русско-балтийский флот был бессилен задержать немецкие дредноуты и крейсера, которые, охватив кольцом остров Эзель, почти без боя высадили десанты. Войска спешно приближались к дамбе, соединяющей остров Эзель с островом Моон.

С падением этих двух островов возрастала опасность вторжения немецкого флота в Финский залив. Поэтому Временное правительство во главе с Керенским решило всеми силами защищать острова. К островам отправлялись два крейсера — «Гражданин» и «Слава» — последняя гордость русского флота. Из Гапсалу двинулись военные и пассажирские пароходы, нагруженные пехотой для защиты островов.

Утром второго октября (по старому стилю) наш полк прибыл в Гапсалу для отправки на остров Моон. Целый день грузили на пароход амуницию, снаряжение, продовольствие и лошадей.

В конце дня военный корабль, покачиваясь, отчалил от пристани. Над морем повисли тучи. Дул пронизывающий ветер. Он врывался в трюмы и со свистом носился по палубе.

Волны Балтийского моря с шумом мчались нам навстречу и с грохотом разбивались о стальную броню корабля.

Медленно наступала ночь. Далеко в море гремели раскаты орудий, огненные языки прожекторов разрезали мглу.

Палуба и трюмы были забиты солдатами. Без всякой надежды на победу они ехали на остров.

Сердце невольно сжималось. Мысли уносились к родным берегам... А корабль мчался в ночную тьму, навстречу смерти.

Рядом со мной стоял Костров Паша. Он как будто не

слышал далекого рева орудий, не видел ярких лучей прожекторов. Молодой и стройный, он застыл на месте.

Сурков Коля молча сидел на сложенном в кольцо канате. На коленях у него лежала винтовка. Он также был погружен в тяжелые размышления.

Рядом с Сурковым на том же канате, спина к спине, сидели Кудинов и дядя Ваня. Кудинов сжимал свою винтовку с двадцать одной царапиной на прикладе, с тоскою смотрел потухшими глазами в синеву моря. Дядя Ваня, облокотившись на коленки, сжимал ладонями свое волосатое лицо.

Немного поодаль стоял Иванов. Он стоял, опустив голову вниз, глядел в кипящие у борта парохода волны.

— Паша, — первым заговорил я. — Слухи есть, что сегодня пойдем в наступление, в бой с немецким десантом...

Паша вздрогнул, его пальцы судорожно сжали ствол винтовки. Сурков встал и подошел к Паше.

— В бой?!.. С кем в бой?.. — растерянно спросил Паша.

— Как с кем?.. Ты разве не видишь, что нас везут на остров Эзель биться против немцев. Присягу новому правительству принимали, опрокинуть немцев в море обещали?..

— К чорту присягу!.. — гневно произнес Паша. — И в бой не пойду, а если и пойду, стрелять не буду! Давно ли с немцами братались?

Обернувшись лицом к нам, он продолжал вполголоса:

— Я думаю о другом... Скоро мы окажемся оторванными от материка, не будем знать, что делается в Петрограде.

Оглянувшись, Паша проговорил шопотом:

— А там неспокойно! Временное правительство неустойчиво. Надо быть на-чеку и нам.

— Н-да... — протянул подошедший Иванов, — на-чеку-то мы будем. Но этого еще мало. Если бы нам удалось взбунтовать весь гарнизон острова, обезоружить офицеров, начать вновь братание с немцами!

Иванов, положив одну руку на плечо Паши, другую мне, продолжал.

— Поработаем! В нашем полку также неспокойно. Солдаты не хотят воевать. Довольно одного сигнала, и весь полк восстанет.

— Но есть еще патриоты, — возразил Паша, — дурачье, верят в русскую победу. Наш фельдфебель Шаргунов

агитирует: «война до победного конца», и многие верят ему...

При напоминании о Шаргунове Сурков сжал зубы, сказав:

— Это верно, Паша, патриоты есть еще, но и нас не мало. Будем верить в свою силу и волю. Поработаем среди солдат. Они поймут. А с Шаргуновым я посчитаюсь!..

Ночь висела над морем. Корабль подходил к пристани Куйвас.

На западе ухали пушки. Рвались голубые ракеты.

В глухую полночь корабль встал на якорь у пристани. Без шума и крика, не зажигая огней, выходили мы на пристань. Партиями отправлялись на берег, строились поротно. Спотыкаясь о камни, падая, двинулись вперед.

Вздрагивала земля от рвущихся тяжелых снарядов... От сильного ветра сосновый лес гулко стонал. В темноте дремали эстонские халупы.

Извиваясь змейкой, стиснутое с двух сторон лесом, белело шоссе. Шуршал песок под солдатскими сапогами, позвякивали котелки. Слышалось тяжелое дыхание.

Тоска и боль щемили сердце. Винтовка и ранец оттягивали плечи.

Полк шел походным маршем.

Вскоре остановились на небольшой поляне. Здесь нас разбили побатальонно. Проверили количество патронов, роздали ручные гранаты. Затем батальоны направились к передовой линии.

Мутный рассвет не давал возможности ориентироваться. С моря поднимался густой туман, свистели снаряды и с треском рвались в сосновом бору.

Наша рота расположилась в деревушке. Солдаты заняли халупы, брошенные хозяевами.

Утомленные переходом, бессонницей, солдаты падали на пол и засыпали.

Лишь только туман поднялся вверх, в заливе между двумя островами показались немецкие миноносцы и крейсера. С их палуб рвались клубы серого дыма. Зарокотала тяжелая морская артиллерия. Мишенью была наша деревня. Запылали в огне эстонские халупы... Нас выгнали на линию огня. Впереди виднелась верстовая дамба, соединяющая два острова сухопутным движением.

Паша, согнувшись, прыгнул в блиндаж. Я за ним. В нескольких шагах от нас разорвался снаряд. Меня отбросило в сторону.

Придя в себя, я увидел перед собой бледного Пашу. Рядом лежал Сурков, полузасыпанный землей.

Неподалеку валялись человеческие ноги и клочья разорванной шинели.

Увидя меня невредимым, Паша подбежал:

— Что, здорово шарахнуло?

Его слова я еле разобрал. В голове шумело...

Я отделался контузией, а Сурков был легко ранен в левую руку.

Немцы долго не решались итти в открытое наступление через дамбу, соединяющую острова Эзель и Моон. Они хорошо укрепились на противоположном берегу, под прикрытием соснового леса. Наши окопы были расположены на плоскогорье и были на виду у немцев.

До позднего вечера морские орудия обстреливали побережье. У нас не было артиллерии. Ответить противнику было нечем. Русский флот ушел в Гельсингфорс. Крейсер «Гражданин» последним покинул зону военных действий и тоже скрылся. Второй крейсер, «Слава», подстреленный, сел на мель вблизи острова. Матросы на шлюпках выбирались на берег. Часть их присоединилась к нам, другие ждали исхода военных операций на берегу моря.

Наступила вторая ночь. Засверкали ракеты. В черном небе рассыпались лучи прожекторов. Над головами лопалась шрапнель. Мы стояли в незащищенных окопах, не зная, что делать. Командование чувствовало себя растерянно.

На другой день, как только рассвело, наша рота выступила к дамбе.

Почти одновременно и немцы повели наступление с противоположного берега. Прикрываясь пулеметным огнем, они рассыпались по дамбе. Обстреливали нас из автоматических винтовок.

Первая контратака была отбита. Немцы отступили под свои прикрытия. Но вдруг с левого фланга загрохотали немецкие пулеметы. Наша цепь дрогнула. Блеснула мысль: мы окружены!

Началось беспорядочное отступление. Наши солдаты метались во все стороны.

Немцы рванулись вперед, ураганным огнем косили бегущие в панике наши цепи.

Теперь уж никакая сила не могла остановить русских. Они рассыпались по лесу, оттесняемые немцами с двух сторон.

Пристань Куйвас, на которой высадились вчера, была

в руках немцев. Положение становилось безвыходным. Стальным кольцом неприятель сжимал наши войска.

Осенняя ночь висела над островом. Моросил дождь. Увязая по колено в болоте, насквозь промокшие, Паша, Сурков и я с трудом продвигались вперед, дальше от грохота пушек.

Лишь на берегу моря офицерам удалось остановить солдат. Отступать дальше было некуда. Выставили посты. Костров Паша быстро подошел ко мне:

— Идем!

— Куда?

— Ближе к офицерам.

Ротный пытался привести в порядок роту.

— Стройся! — надрываясь кричал он.

Солдаты не подчинялись команде и стояли вольно, кучками. Паша крикнул:

— Не будем строиться! Довольно! Долой войну!

Солдаты заволновались.

— Немцы такие же рабочие и крестьяне! — продолжал Паша. — Зачем убивать друг друга?

Взбешенный ротный выхватил саблю и, потрясая ею в воздухе, быстро шагнул к Кострову. Я взял винтовку наперевес. Но в этот момент Паша прыгнул назад, штык его винтовки блеснул в воздухе, грохнул выстрел.

Офицер, качнувшись, рухнул на землю. Сабля его со звоном полетела по крутому косогорью к морю.

Минута мертвой тишины. Стало слышно, как билось свирепое море о берег. Где-то далеко гремела артиллерия.

В руках Суркова дрожала заряженная винтовка. Воспаленными глазами он искал Шаргунова и, не найдя его, крикнул солдатам:

— Товарищи! Довольно воевать! В землю штыки! — и первым вонзил свой штык.

Запыхавшись, к нам подбежал Иванов. Он весь дрожал.

— Товарищи, брататься! — прозвучал резкий голос Иванова. — Выбрасывай белый флаг!..

На древке взвился белый флаг.

На востоке загоралось утро. Где-то с правой стороны рвались бомбы. Там дрались, отступая с боем, казацкие части. Непонятное чувство овладело мною. После контузии в ушах звенели колокольчики, в голове шумело. В эту минуту я совершенно не подумал о том, что может быть через полчаса. Пораженный происшествием, я еще стоял,

крепко сжимая винтовку, с широко раскрытыми глазами.

— Паша!... — вдруг вырвалось из моей груди. — Зачем, зачем бросать винтовки?.. — И, не ожидая ответа, обернувшись к роте, крикнул:

— Товарищи, в штаб надо!.. Пойдем в штаб полка, обезоружим офицеров!..

— Поздно... — подходя ко мне, грустно проговорил Кудинов. Он бросил винтовку, сорвал георгиевский крест с груди и швырнул его в сторону.

Я оглянулся. Рассветало... К берегу подходили немецкие броненосцы. Из леса высыпала конница. Саморазоруженный полк наш был оцеплен немцами.

— Паша, — спросил я, — значит в плен, сдаемся?

Лицо Паши исказилось. Глаза вспыхнули и потухли. Сдвинув фуражку на лоб, он нервно махнул рукой.

— В плен!..

Иного выхода для нас не было. Защищать острова одними винтовками, без поддержки артиллерии, было бессмысленно, да и отступать некуда, кругом бушевало море. Кроме того, изнуренные войной солдаты не хотели больше воевать. И сорокатысячный гарнизон острова Эзель-Моон сдался в плен со всем обозом, фуражом и продовольствием.

Шестого октября 1917 года нашу первую группу погрузили на пароход и отправили в Германию.

VIII

Недалеко от Данцига, вдоль опушки соснового леса, раскинулся лагерь Черск. Низенькие бараки с маленькими оконцами, словно вдавленные в землю, издали наводили страх. Каждого из нас волновала одна мысль: «Неужели будем жить в этом лагере?»

Рано утром тринадцатого октября нас партиями по шестьдесят человек, под руководством капралов, перегнали из Данцига в этот лагерь.

Тысячи русских военнопленных, согнанных сюда со всех фронтов, должны были проходить карантин в этом страшном лагере смерти. Много наших солдат погибало от холода и голода. Рядом с Черском вырастал другой лагерь — лагерь мертвецов с тысячами братских могил.

Лагерь, разместившийся на квадратном километре, был разбит на блоки. Каждый блок в пять бараков обнесен

высокой стеной проволочного заграждения. Пленные могли общаться только с людьми своего блока.

При разбивке наша команда была назначена в десятый блок. Одни за другими проходили мы бесконечные колючие линии заграждений. Всюду сверкали каски и штыки часовых.

Молча, с глубокой тоской в сердце, спускались мы по земляному откосу в барак. Сырой и затхлый воздух рвался навстречу в открытую дверь. В бараке стояло зловоние от гнили и плесени. С потолка крупными каплями падала вода.

Люди усталыми бросались на побеленные известью нары, на которых недавно спали русские, отправленные на работы, — на этих нарах и мы должны спать.

Я с Костровым и Сурковым расположился посреди барака на голых нарах.

Паша, бросая вещевой мешок в угол, присел на край нар. Сурков, держа за плечами потрепанный ранец, посмотрел на черный закоптелый потолок, сырые заплесневевшие стены и покоробленные доски нар и опустил потухший взгляд в земляной грязный пол.

Левашов с худым и бледным лицом, первым забравшись на нары, сказал Суркову:

— Погибли молодость и жизнь!

В глазах его сверкнуло отчаяние. Всхлипывая по-детски, Левашов закрыл глаза ладонями, повернулся лицом вниз, не ожидая ответа.

К нему подошел Кудинов.

— Перестань, Митя! Останемся живы — вернемся на родину.

— После этих пыток мы уродами вернемся домой. Нет, я не выдержу!.. — От сдерживаемого плача плечи Левашова судорожно вздрагивали.

— Не суди так, Митя, — заговорил Сурков, вынимая последний сухарь из ранца, — на фронте не погибли, выдержим и здесь. Война скоро кончится. Придет время, будем бить настоящего врага, виновника всех наших бед... Встань, подними голову. На сухарик, съешь... Последние кончаю... вместе голодать будем...

— Слышал, — уже тихо, как бы кого опасаясь, продолжал Сурков, — что говорили немецкие матросы, когда мы ехали Балтийским морем? Что и они скоро последуют примеру русских. Свергнут самодержавие. Если это свершится, мы пойдем им помогать...

Митя кивнул головой.

Военнопленные строятся на обед.

Я подошел к Левашову и посоветовал ему отдохнуть. Он устал. А потом пригласил Пашу обойти свой блок, познакомиться с людьми и местом.

На обед привезли болтушку из костяной муки, выдали по сто граммов хлеба на человека.

Проголодавшиеся люди пили горячую болтушку прямо из котелков, желая хоть этим согреть продрогшее тело.

Паша Костров подговорил конвоира и обменял последнее белье на хлеб, поделился с нами.

На утро нам дали по кружке ячменного кофе без хлеба и сахара и в семь часов погнали в лес корчевать пни. Мы работали весь день. Только поздно вечером, усталые и голодные, мы возвратились в сырые бараки и легли спать на голые нары.

...Так шли недели. Голод становился невыносимым. Многие, не выдержав, умирали. Лагерь мертвецов пополнялся изо дня в день.

Вечером двадцать девятого октября, украдкой от коменданта, в барак пришел конвоир-баварец, тот самый, у которого Паша выменял хлеб на белье. Он сообщил нам неслыханную новость: в России революция. Керенский скрылся. В Петрограде идут бои.

Мы были поражены, обрадованы. Перебивая друг друга, мы стали расспрашивать его, — как, что?.. Но баварец, имея самые скудные сведения, не мог нам ничего хорошенько растолковать.

Повторял одно:

— Керенский капут! Ленин война не хочет... Конец. Русь домой!..

Этот маленький человек, баварский солдат, «враг России», в своих кратких словах так много принес радости нам, несчастным пленникам, что мы не спали почти всю ночь. Он вместе с нами радовался свержению буржуазного правительства в России. Прощаясь, он крепко жал наши руки. Уходя, приветственно крикнул:

— Русь гут камрад! Буржуй капут!

Было еще темно, когда загудел колокол на подъем. Люди нехотя вставали на работу. Паша соскочил с нар на мокрый пол. Глаза его горели, на опухших щеках вспыхнул румянец.

— Не пойду!.. Не пойду!.. — закричал он. — Товарищи, не пойдем на работу! Голодным лучше в бараке уме-

реть, чем в лесу! Хлеба, пусть дают хлеба! В России революция! Конец войне!

Люди смотрели на Павла, не решаясь сойти с места. Они поглядывали друг на друга. Где-то в глубине сердца у всех накипела отчаянная злоба, эта злоба рвалась наружу...

Вбежал запыхавшийся пузатый немец.

— Русский, скорей получать кофе!

Паша в один миг подскочил к нему.

— К чорту твое кофе. Вода это. Давай хлеба, мы хлеба хотим!

Пузатый немец прищурил глаза.

— Хлеба? Нет хлеба, — с усмешкой по-немецки отвечал он.

— А нет хлеба, нет и работы. Понял?..

— Вас ист дас? (Что такое?)

— Иди и скажи своему начальнику, что без хлеба русский не будет работать.

Немец скрылся.

Люди всего барака, одевшись, не двигались с места, словно их приковала к земле какая-то сила.

Не прошло и пяти минут, как в барак вошел комендант в сопровождении нескольких конвоиров.

— В чем дело? — надменно спросил комендант.

— Мы требуем хлеба, — выступая вперед, ответил Паша. — Мы издыхаем с голоду, не в силах двигать ноги, валяемся на голых нарах, живем хуже собак...

Кругловатое лицо коменданта побагровело. Глаза его быстро забегали. Он шагнул к Паше.

— Вам хлеба?..

— Да, хлеба! — отвечали пленники.

— Мы истощали, а работа тяжелая! — сказал Паша, выступая вперед. За ним двинулись все пленные.

— Стой! — гневно крикнул по-немецки комендант и, подойдя к Паше, спросил: — Так тебе хлеба? Людей бунтуешь, скотина!

Резкая пощечина свалила Пашу с ног. Я бросился к нему...

— Стой! — скомандовал мне комендант.

Передо мною блеснули штыки конвоиров.

— Взять его! — сказал комендант, показывая на Кострова. Двое солдат подскочили к Паше и поволокли его. В эту минуту мое сердце разрывалось на части, я готов был броситься за Пашей, вырвать его из рук конвоиров.

— Выходи строиться на работу! — продолжал кричать комендант.

Не выдержал и Сурков, он рванулся вперед.

— Стой, товарищи! Ни с места! Пусть дают хлеба или пулю!..

Сурков быстро обернулся к коменданту.

— Стреляй, палач!

— Взять его! — приказал комендант.

Конвоиры бросились к Суркову, но голодная масса, не выдержав, хлынула к двери и загородила дорогу.

Сурков скрылся в толпе. По сигналу коменданта внезапно явилось подкрепление. Заработали приклады ружей по спинам голодных пленников. Наконец, выгнали, построили.

— Бегом! Раз! Два! Три! Четыре! — командовал комендант.

Эта издевка мне напомнила царскую казарму, где нас готовили к войне.

Два человека упали.

Их оттащили в сторону...

После тридцатиминутной гонки, оцепленные конвоем, мы пошли на работу. Левашов упал на дороге, троих увезли с работы.

Наступила ночь. Тяжелое порывистое дыхание, протяжные стоны раздавались то в одном, то в другом конце барака.

Левашов метался в горячке по нарам, хватался худыми руками и страшно стонал. Все его тело дрожало как в лихорадке. Он скрипел зубами. Сурков намочил водой полотенце и положил на жаркий лоб Левашова. Тяжелый стон стал вырываться из груди все тише и тише. В мучительной агонии Левашов скончался перед рассветом. Когда занималась поздняя осенняя заря, труп Левашова перенесли в лагерь мертвецов.

У Паши также была горячка. Он целый день просидел в комендантском каземате. На лице остались следы побоев. На героический поступок Кострова и Суркова обратили внимание люди всего барака. Пленники с томящей жалостью смотрели на Пашу, когда вечером его привели в барак из-под ареста с побитым лицом.

Миролюбивый, постоянно спокойный Кудинов втихомолку плакал, с отцовской заботливостью он ухаживал за

Пашей, сам лег на голые нары, а своей шинелью укрыл Кострова.

У меня сильно кружилась голова, тошнило, но рвать было нечем. Я душевно страдал за Пашу, оказать же какую-либо помощь ему был бессилен.

Шаргунов также попал в плен на острове Моон. В тот момент, когда Костров убил ротного командира, Шаргунов скрылся. Сурков искал и не нашел его. Последнюю пулю, хранившуюся для Шаргунова, Сурков бросил вместе со своей винтовкой.

В лагере Черск Шаргунов подделался к коменданту, устроился старшиной барака и водил одну из партий пленных на работу.

Шаргунов избегал встречи с нами. Особенно он боялся Суркова. Находясь в другом бараке, Шаргунов все время наговаривал коменданту про нас, как бунтарей среди пленных. Он сказал и то, что Костров убил офицера. Из-за него меня, Кострова и Суркова больше всех сажали под арест. Мы просиживали сутки в карцере на одной воде. И Сурков поклялся при первой же возможности уничтожить Шаргунова.

IX

Постепенно, день за днем, прошел месяц. Ударил мороз, мерзлую землю покрыл снег. Над лагерем завывала метель. В щели и разбитые стекла врывался ветер, неся холодные струи морозного воздуха вместе со снегом. Коченея от холода, мы, голодные, жались друг к другу, доживая последние дни карантина.

Перед отправкой на постоянные работы нам был произведен осмотр. Началось с бани, куда загоняли по пятьсот человек. В первой комнате раздевались и сдавали одежду в дезинфекцию. По часу стояли в очереди к парикмахеру и партиями по пятнадцать человек шли под душ, а потом, голые, просиживали в огромной холодной комнате по два и три часа в ожидании одежды из дезинфекции. Голые люди мерзли, дрожали, не попадая зуб-на-зуб.

Получив одежду, надо было итти на врачебный осмотр Там снова раздевали и уже в десятый раз делали уколы от тифа.

При осмотре пленные жаловались врачу на истощение и упадок сил, на побои, нанесенные конвоирами, но врач был к ним глух и нем. Он только кричал:

— Язык! Дай язык!

Сгорбившись, уходили мы от врача. В коридоре встречал крикливый комендант:

— Хорош русский! Хорош! Больных нет, пойдешь работать!

Выстраивали нас вдоль бараков в две шеренги лицом к лицу. Комендант тщательно осматривал каждого: пришит ли номер на шинели, есть ли желтая нашивка на рукаве. Он тросточкой выкидывал лишние вещи из наших мешочков.

Скрипел под ногами снег. Мороз жалил лицо и руки. Забирался под выжженную дезинфекцией шинель, щемил истощенное тело.

Не выдерживая этой ужасной пытки, люди падали, как сонные, зарываясь лицом в снег. Их поднимали прикладами и гнали в бараки.

После осмотра построились по четыре. Раздалась команда:

— Бегом!

Напрягая последние силы, я старался удержаться на ногах, но они отказывались служить. Голова кружилась, в глазах темнело. Качаясь, я вышел из строя. Ко мне с криком подбежал комендант, брызгая слюной в лицо, кричал:

— Ты что, собачья кровь?!..

От сильной пощечины у меня посыпались искры из глаз, я упал на снег. Не успел опомниться, чьи-то руки подхватили меня и поволокли.

Когда я открыл глаза, в бараке уже было темно. Только глухие да протяжные стоны, порывистые дыхания нарушали страшную тишину ночи. Кто-то шептал молитвы. В другом конце барака раздавались ругань и проклятья. Лежать было тяжело, от боли ломило спину. Сердце усиленно билось. Голова горела. Вдруг в темноте я почувствовал, как чья-то холодная рука легла мне на лоб. Послышался дрожащий голос:

— Не спишь?

Страшная жажда душила мое горло, сквозь стиснутые и сухие губы я через силу попросил воды.

Паша дал мне напиться.

— Как себя чувствуешь, плохо? — спросил он.

— Тяжело...

— Сволочи! — сквозь зубы выдавил Паша. — Не заморят голодом, добьют прикладами.

В конце декабря 1917 года как-то на рассвете нас выгнали из барака. Команду в триста человек погрузили в вагоны. Скрипели от мороза буксы. Пленники жались в своих лохмотьях, сбиваясь в кучи.

Еще в 1916 году из русских военнопленных немцы начинали составлять железнодорожные батальоны. В число этих батальонов попали и мы. Нас отправляли на французский фронт чинить дороги.

Быстро мелькали занесенные снегом деревушки. Одна за другой оставались позади станции, загроможденные военными составами поездов. Кое-где на перронах встречались пассажиры, рабочие-железнодорожники. Они молчаливо провожали нас растерянным взглядом. Судя по их лицам, война тяжелым бременем давила на всех.

Вот уже остался позади город Люксембург, а поезд все мчится вперед, на юг. Вот он с размаха врезался в гору и закружился в ущельях Эльзас-Лотарингии...

Становилось немного теплее. Исчезали снежные равнины и черные силуэты эльзас-лотарингских гор, впереди расстилалась бесснежная марнская земля, заросшая бурьяном и мелким кустарником.

Поезд все мчался вперед, к французскому фронту. Уже слышались далекие отзвуки артиллерийского гула.

В полдень наш эшелон остановился на французской станции Саранци, захваченной немцами. Пленники высыпали из товарных вагонов на перрон и по приказу конвоиров-пруссаков начали строиться. В изорванных, грязных, пожелтевших от дезинфекции шинелях стояли мы истомленные, неся на лицах тяжелый отпечаток бедствий и голода.

По команде лейтенанта, оцепленные усиленным конвоем, мы двинулись в путь. Шли медленно, с опущенными головами. Остановились у полуразрушенного четырехэтажного дома, который, как оказалось, и был предназначен для нас. Всюду были разбитые дома, изрытые снарядами поля. Кругом пустота и безлюдье.

Бывшая усадьба французского помещика, в которой нас поместили, находилась на берегу небольшой быстроводной речонки. Четырехэтажный дом с черепичной кры-

шей был обнесен каменной стеной, а поверх ее — проволочным заграждением. Из окон третьего этажа, к северу, виднелась узловая станция Саранци; за ней отлогие горы, покрытые черным лесом. Слева, в четверти километра от нас, на небольшой возвышенности, стояла с разрушенными домами деревня Морвиль. На юг, позади нашего дома, тянулись горы; из-за них доносился глухой рев канонады, — там был франко-германский фронт.

Все триста человек не могли поместиться в комнатах. Большую часть людей разместили на чердаке и в конюшне, в которой были построены сплошные нары. Костров, Сурков и я поселились в полутемном чердаке под дырявой черепичной крышей.

На другой же день, рано утром, нас выгнали на работу. Мы взрывали камень, носили шпалы, долбили кирками мерзлую землю. Прокладку железной дороги от города Мондмеды к фронту начали пленные бельгийцы, закончить ее должны были мы — русские.

Извиваясь между гор, железная дорога тянулась по берегу речки. Она имела для немцев большое стратегическое значение. По ней перебрасывали воинские части к фронту.

На территории нашего лагеря предполагался разъезд. Вот здесь-то мы с утра до вечера и планировали площадь. Снимали возвышенность, отвозили землю тачками и вагонетками на далекое расстояние, засыпали низины. Вслед за нами другая партия разносила шпалы, укладывала рельсы. По пятам шел паровоз, подвозя материалы.

Используя рабский труд пленников, немцам дешево стоила постройка железной дороги.

А над землей, почти беспрерывно, стлался гул артиллерийского боя и, раздирая холодный воздух, часто проносились снаряды. Град металлических раскаленных осколков уже в тысячный раз поливал землю.

Изнуренные каторжным трудом, голодные, поздно вечером возвращались мы в свой лагерь. Набрасывались на ужин, — каждый получал четверть литра болтушки из костяной муки.

И этому мы были рады...

Медленно тянулись дни. Сурков простудился, он кашлял день и ночь, харкая кровью. Лицо опухло, глаза потухли, — жаловался на сильную боль в ногах. Лагерный фельдшер лечил только хиной да иодом, никаких других медикаментов не было.

Желая скрыть свою слабость от товарищей, Сурков еще старался шутить и смеяться над еще более слабыми.

— Эх, дядя Ваня, не вешай носа, — говорил он, — скоро поедем на родину. Там поправимся. Советская власть о нас позаботится. Ведь это же наше — рабочее правительство!

— Тяжко так помирати, — глухим голосом отвечал бородатый дядя Ваня, — ще хочется пожити при новой радяньской влади. Доживу до цього, чи ни?..

Где-то совсем близко разорвался снаряд. Дрогнули стекла в чердачных фонарях. С полки со звоном упал котелок. Все замолчали.

— Опять начинают. С каждой минутой жди — взлетим на воздух, — проговорил Денисов.

— Да... — вздохнул дядя Ваня, — тако ж расстрилявают вороги мою ридну Украину. Що сталося з моей хатою?..

— У тебя осталась семья? — спросил я дядю Ваню.

— Жинка и двое диток. Ще завсим маленькими булы, як меня забрали на вийну.

Кудинов, молча сидевший на нарах, быстро повернулся, упал вниз лицом и задрожал. Он плакал. Вероятно, напоминание о семье встревожило его. Еще на фронте, сидя в окопах, Кудинов рассказывал мне, что у него в деревне Орловской губернии остались жена и трое детей. После свержения самодержавия Кудинов мечтал получить землицы. «Эх, скорей бы кончалась война, — говорил он тогда. — Вернусь на родину и возьмусь за плуг».

Бомбардировка участилась. Снаряды рвались со всех сторон лагеря.

Никто из нас и не думал о сне. Усталые, раздевшись, мы лежали, зарываясь в лохмотья. Иные сидели на краю нар, прислонившись спиной к стойкам, прислушивались к канонаде.

К нам подошел Горячев и сел в ногах Паши.

— Слухи есть, — заговорил он простуженным голосом, — украинцев домой отправлять будут... Говорят, всю Украину оккупировали немцы.

— Отправят... на тот свит, скоро!.. — с горестью в голосе ответил дядя Ваня.

— Для них это легче, — добавил я.

— Мрут люди, — вздыхая продолжал Горячев, — как мухи. Работа рабская, а жизнь адская...

На минуту Горячев замолчал.

Это был человек среднего роста, с добрым сердцем. Его голубые глаза выглядывали из-под опухших век. С Горячевым мы познакомились только здесь, по прибытии в этот лагерь. С первого дня знакомства он произвел на нас большое впечатление, я питал к нему товарищеское уважение и симпатию. Костров и Сурков также полюбили его, а Денисов, помещавшийся с ним рядом, разделял с ним последние крохи... Если тот или иной из них достанет картофельных скорлуп, они жарили их на плите и ели вместе.

— Бежать надумал... — после некоторого молчания сказал Денисов. — Но куда бежать? На восток? — Надо пройти всю Германию. На западе — фронт. Скрываться здесь в лесах, запруженных немцами, опасно, — подстрелят. Но я решил это твердо: при первом случае убегу.

— Эх, ушел бы и я с тобой, Митя, — заговорил Сурков, — тяжело здесь. Не могу. Ноги не двигаются. Сердце сосет, словно жаба, ломит грудь...

Сухой кашель задушил горло Суркова. Тяжело дыша, он замолчал.

Быстро наступала страшная ночь. Страшная потому, что бой все усиливался. С запада наступали американские, английские и французские войска. Немцы с упорным боем отдавали каждый шаг своего отступления. И небо в эту ночь казалось расколотым. Восток был погружен во мрак, дремал, а запад пылал в кровавом пожарище.

При каждом взрыве сорокадвухсантиметрового снаряда вздрагивал наш дом. Дрожали и мы. Грустное было настроение у нас, трехсот пленников.

— Господи, да скорей бы смерть наступала, — шептал мой сосед.

— Тут господи не при чем, — ответил Костров Паша, лежавший со мной рядом, с другого бока. — И помилования от него ждать нечего.

Мне было страшно, по телу пробегал озноб.

В окнах засверкали огни прожекторов, над крышей загудели самолеты, где-то совсем близко взрывались бомбы, по крыше звякали металлические осколки, на нары сыпался мусор.

Я присунулся вплотную к Паше, натянул шинель на голову, стараясь хоть этим спрятать себя от смерти.

В коридоре нашего дома послышался шум. Застучали приклады. В комнату ворвались конвоиры.

— Русь, выходи скорей! — кричали они по-немецки.

Один снаряд попал в дом. Из окон с лязгом выскочили последние стекла. Кто-то истошно выкрикнул.

Подталкиваемые конвоирами, кубарем катились мы по лестнице. Не успев опомниться, один за другим выскакивали босые, в одном белье на улицу, где встречал нас лейтенант, обжигая каждого «за нерасторопность» плеткой.

Полураздетый, босой бежал отряд от своего разбитого жилища. В воздухе пахло гарью. Красные языки вспыхивали в темноте ночи. Горела узловая станция Саранци. Американцы нащупали ее и не скупились на снаряды.

Спотыкаясь о камни, падая, окоченевшие, с окровавленными ногами бежали мы в поле. А кругом ревело, грохотало, стонало.

Прибежали к оврагу. Скатываемся в него.

— Ложись! — кричит лейтенант.

Паша бросился на мерзлую землю, ткнул лицо в холодную траву.

Сурков тяжело стонет, под ним темное пятно теплой клейкой жидкости. Кровь струилась из его раненых ног. Я упал рядом с Пашей; невыносимая боль щемила все тело. Паша лежал молча, лишь изредка судорожно вздрагивая.

Сзади незаметно к нам приблизился человек. Он подполз по-собачьи, на четвереньках. Это был конвоир Бецке. Старик, баварский крестьянин, был один из лучших конвоиров всего лагеря.

— Русский, холодно?.. Русский, болит?.. — несвязно лепетал он. — Русский, на, возьми!..

Бецке передал нам свою палатку и быстро исчез.

Сурков беспомощно приподнял голову. Костров и я поспешили к нему. Я обернул окровавленные ноги Суркова палаткой. Паша поддержал его голову.

— Паша, — чуть слышно шептал Сурков, — сгораю! Ох, тяжело... Болит сердце, воды, хочу воды!.. Конец, Паша, прощайте!..

Грохот артиллерии заглушил последние слова Суркова. Он тихо скончался на руках Паши Кострова.

Склонившись над трупом дорогого товарища, я горько заплакал, все тело содрогалось от рыданий. Я проклинал адскую жизнь и тех, кто терзал наши молодые, девятнадцатилетние сердца... «Прощай, прощай, дорогой товарищ... Если хватит силы, — мы отомстим за твою смерть» — прошептал я.

В сером рассвете утра возвращались мы с поля полу-

раздетые и больные. Шли оврагами, между колючек шиповника к своему разрушенному жилищу. Артиллерийским огнем была снесена крыша дома, продырявлены конюшни, кухня и кладовая с провиантом. С большим трудом удалось нам вынести свои вещи из-под развалин. Одеваться пришлось на дворе, на мерзлой, покрытой инеем земле. В этот день завтрака не получили. Ничтожные запасы провианта были уничтожены снарядами.

Денисов прихрамывал; он разбил о камень правую ногу, и насилу надел сапог. Дядя Ваня тоже стонал от боли, дрожал от холода. Его вещи засыпало черепицей, шинель и одеяло достать не удалось. Я отдал ему свою палатку и, поддерживая за руку, шел рядом. Костров Паша, крепко сжав бледные губы и склонив голову на грудь, смотрел в землю. На его опухшем лице лежала печать изнурения и тоски.

X

Весь остаток зимы провели мы в разрушенной деревушке Морвиль. В конюшнях и сараях, неприспособленных для жилья, без света и тепла мы валялись на мусоре, грелись в конском навозе. Целые дни работали на прокладке железной дороги. Немцы подгоняли нас как можно скорее докончить эту дорогу. Ели мы попрежнему болтушку из костяной муки. Собирали картофельные скорлупы, выброшенные из немецкой кухни, и варили из них суп. Мерзли, голодали и через силу передвигали опухшие ноги.

По всему западному горизонту днем стлался черный дым, беспрерывно грохотали пушки. Ночью красное зарево огненными клиньями врезалось в темноголубое небо.

Американцы, французы, англичане и бельгийцы наступали. Немцы жестоко отбивались.

По мере отступления немцев и нас, пленных, отводили дальше в тыл.

Прокладку железной дороги к фронту пришлось прекратить. Неумолчная артиллерийская перестрелка заставила немцев перегнать нас в другой лагерь.

...В апреле 1918 года, когда леса уже одевались в зелень, нашу команду пригнали к деревне Бревиль.

Из трех бараков, кухни с кладовой и околотка с караульным помещением состоял новый лагерь. Прямо на север от проволочного заграждения, по скату горы, начинался моло-

дой лес. Он опускался вниз к речке, а дальше, на другом берегу, поднимался опять вверх. Вправо, в восточном направлении у подножья лагеря раскинулась деревня Бревиль. Черепичные крыши домов, местами разрушенные снарядами, тонули в пушистой зелени фруктовых садов. Посреди деревни возвышался белый костел, занятый немецким лазаретом.

В шесть часов утра нас поднимали конвоиры.

— Скорей строиться! — кричали они.

Тяжело вставали со своего жесткого ложа пленники, зевая, продирали опухшие веки. Во всем теле чувствовались сильная боль и усталость. Молча становились мы в очередь за черпаком кофе из пережженого ячменя, жадно глотали горькую жидкость, потом строились на работу.

Окружив нас тесным кольцом штыков, тщательно считая и в сотый раз обыскивая с головы до ног, начинали выводить из лагеря. На дороге ставили по-четверо и снова считали.

Взваливали на наши плечи кирки, лопаты, ломы, командовали «шагом марш». Страшно было смотреть: люди, измученные голодом, бледносиние, походили скорей на тени, чем на бывших здоровяков.

От станции, расположенной ниже деревни Бревиль, среди широкой равнины, проводилось грунтованное шоссе к фронту.

Эта дорога имела важное значение. Она связывала фронт с железнодорожной станцией и несколькими военными базами автотранспортного движения, которого у немцев было немало.

Целый день мы копошились в земле. Динамитом взрывали каменные скалы. Полупудовым молотом разбивали крепкие породы булыжника, грузили на вагонетки и отвозили товарищам, прокладывавшим мостовую. Другие партии подвозили песок и гравий, а вслед за нами каток шлифовал дорогу.

Работа начиналась с семи часов утра и продолжалась до трех дня без отдыха и обеда. В три часа дня нас гнали в бараки, выдавали суп из одних овощей пополам с грязью, так как овощи не мылись.

Голод был настолько велик, что всякое отвращение и страх перед заразой исчезли совершенно. Еще с прибытием в Бревиль, в углу лагеря, у проволочного заграждения, позади кухни, мы нашли кучу гнилой соломы. Мы ее всю пересмотрели в поисках съестного. Находимое

там — все поедалось: гнилые яблоки, лук, гороховые стручки, картофельная скорлупа.

После обеденного перерыва, с четырех часов дня, нас гнали снова работать — одну партию в лазарет резать дрова для немецкой кухни, а другую — на станцию разгружать вагоны.

Возвращались поздно вечером, получали ячменное кофе, голодные и больные ложились спать.

Денисов Митя и Тарасов Федя задумали убежать. О побеге они сообщили мне и Кострову Паше. И пятого июля, поздно ночью, когда лагерь погрузился в тяжелый сон, Денисов шепнул мне: «Прощай!» Я приподнялся на скрипучей сетке нар, разбудил Пашу. Мы поцеловались, как братья, крепко пожимая друг другу руки, молча простились. Паша сказал:

— Идите! Если удачно — мы за вами...

Денисов и Тарасов исчезли в темноте ночи. У меня на глазах навернулись слезы. До утра не мог заснуть. Тысячи всевозможных дум путались в голове. Я тоже начинал мечтать о побеге.

На другой день, во время проверки, побег был обнаружен. Немцы подняли тревогу. Лейтенант сообщил в воинские части, расположенные в районе, чтобы задержали беглецов.

Нас в этот день сопровождали на работу под еще более усиленным конвоем.

Через три дня, после осмотра нас, во дворе лагеря поднялась какая-то суетня. Люди бежали к воротам лагеря. Я вышел из барака и увидел, как в узкую проволочную калитку швырнули двух человек. Одежда на них была совершенно изорванная, измазанная грязью. Сквозь прорехи виднелось окровавленное тело. Я не сдержался, вскрикнул от ужаса, когда увидел обезображенные лица Денисова и Тарасова. Дрожа всем телом, я бросился к ним, но в этот момент в лагерь влетел, в сопровождении конвоиров, свирепый лейтенант. Конвоиры вырвали из моих рук мучительно стонавшего Денисова, ударив меня прикладом в грудь так, что я отлетел к стенке барака. Сбежавшихся людей разогнали. Лейтенант приказал конвоирам подвесить обоих к столбам за поднятые руки и поставить часовых.

Посредине двора, на глазах всех пленников, на вытя-

нутых руках висели полуживые, избитые до потери сознания товарищи.

Когда солнце садилось за горизонт и красные лучи заиграли кровавым отблеском в стеклах костела, — в это время к подвешенным товарищам подошел капрал и обрезал веревки. Денисов и Тарасов рухнули на землю.

Я и Костров бросились к ним.

— Стой! — крикнул капрал.

Мы остановились, дрожа всем телом, словно в лихорадке.

— Воды! — приказал он стоявшему часовому. Часовой, взбросив винтовку на плечо, быстро удалился. Вскоре он принес ведро холодной воды.

Капрал опустился на одно колено, нагнулся, чтобы послушать, дышат ли наказуемые, потом приказал солдату отливать их холодной водой.

Денисов вздрогнул, вытянулся и опять застыл в неподвижности.

— Воды! — опять вскрикнул капрал.

Солдат принес еще ведро воды и вылил на Денисова. Денисов вторично вздрогнул, открыл глаза и ничего непонимающим взглядом смотрел вокруг себя.

— Переводчик!

Из барака позвали переводчика. Капрал приказал перенести Денисова в околоток.

Не чувствуя под собой ног, я бросился к Тарасову. Но напрасно тормошил его тело, несвязно шептал, просил встать. Он лежал без движения, тело его уже похолодело. И я почувствовал страшную слабость в своем истощенном теле.

Над самым ухом я услышал сдавленный голос дяди Вани:

— Встань, хлопце, идемо в барак!

Дядя Ваня помог мне встать. Опираясь на его руку, я побрел к бараку. Голова кружилась; мне казалось, что вершины соснового леса и костел с высоким шпилем повалились вниз, словно в бездну.

Целую ночь у меня была горячка. Дядя Ваня не отходил от меня; он несколько раз сменял компресс на моей голове. Перед утром стало легче, только страшно тошнило...

— Дядя Ваня... — прошептал я. — Где Паша?.. Как Денисов?..

— Ничего, Денисов жив... Ему лучше. Паша коло него.

— А Тарасов?

— Забрали, увезли...

Сердце вновь защемило, словно камень положили на него. Зловоние, наполнявшее весь барак, спирало дыхание. Я впал в беспамятство.

Три дня я пролежал в околотке. Костров Паша боялся, чтобы меня не схватил тиф, который свирепствовал во всех лагерях. Но на четвертый день я встал вместе с Денисовым. Нас выписали из околотка и направили на работу.

...После Октябрьской революции и разгрома германских войск на Украйне отношение к нам, пленным, со стороны лейтенанта лагеря Шнека, фельдфебеля Альфуса и капралов изменилось в худшую сторону. Их свирепость доходила до неслыханных издевательств над нами.

В первых числах июля 1918 года мы закончили двадцатикилометровое шоссе и нас перебросили в деревню Вилон на уборку сена по широким низовьям реки Маас.

На сенокосах нас заставляли работать от темна до темна. Немцы спешили до отступления своей армии собрать сено и увезти его в Германию.

По пятам косарей двигались конвоиры, приговаривая:

— Скорей работай! Больше работай!

Мы косили, сушили, сгребали, носили сено в копны. Позади нас оставался ровный, со щетиной корней, выкошенный луг в полкилометра ширины. Слева между стройных тополей протекал голубой Маас. А впереди, насколько мог видеть глаз, колыхалась высокая желто-зеленая волнистая трава. За возвышенностями правого берега гремели пушки. В летнем воздухе висел удушливый туман, и смрад от пороха и газа перемешивался с ароматом свежего сена.

Безжизненная деревушка Вилон, приютившись во впадине левого берега Маас, с черными, одиноко торчавшими в небо трубами наводила еще большую тоску и печаль. И такой уродливой, безобразной, варварски-жестокой и дикой казалась мне окружающая действительность.

В моей голове слабо зарождались мысли. Я думал о великом человеческом безумии, о раненых, убитых, изуродованных, замученных голодных людях. А где-то, совсем близко, в камышах, в глубине молодой листвы и цветов левого берега прекрасного Мааса раздавались песни соловьев. Каким вопиющим контрастом являлись они в этой обстановке!

— Скорей, скорей работай!.. — громкий окрик прервал мои размышления.

Я вздрогнул, схватил грабли и стал переворачивать душистое сено.

Ласковое и теплое солнце вот уже десятый день заходит впереди нас, за той возвышенностью, в которую упирается огромный луг Мааса, а мы, оставляя большое пространство позади, движемся вперед и не можем дойти до конца.

Чем сильней разгорался бой на фронте, тем больше подгоняли нас с уборкой сена.

День и ночь грохотала прессовочная машина. Подъезжали грузовики и отвозили тюки сена на станцию.

На восемнадцатый день сенокоса мы уперлись в крутой берег. Здесь Маас, как бы рассекая на две части высокую гору, исчезает за поворотом.

После окончания сенокоса нас перебросили в лагерь Люппы, опять на исправление шоссейных дорог, поврежденных снарядами.

XI

Чуть свет задребезжал колокол. Тяжело поднимаясь, мы выходили строиться. Над лесом низко мчались осенние облака. Дождь, начавшийся еще ночью, поливал бараки. По временам он переходил в ливень.

Продрогшие за ночь, кутаясь в изорванные палатки, мы стояли по колено в грязи.

Капрал по-немецки считал нас:

— Раз! Два! Три! Четыре!

— Двести! — крикнул он лейтенанту, когда кончил считать.

«Двести, — подумал я с болью в сердце. — За один год плена из нашей команды выбыло сто человек! Они умерли от голода, замучены зверскими издевательствами... А эти, чудом оставшиеся в живых, двести человек на что похожи?.. Страшно на них посмотреть. Ветер качает из стороны в сторону. К ногам словно колодки привязаны, лица опухли, в глазах мерещатся желтые круги, головы тяжелые, как свинцом налиты».

Взвалили на наши плечи железные ломы, вновь построили; лейтенант крикнул:

— Пошли!

Грузно увязая в размешанной грязи, промокшие до ниточки, мы шли на работу в каменоломню. Старые и порванные палатки, выданные нам еще в Черске, за год превратились в грязные тряпки и нисколько не спасали от дождя. Шли медленно, коченея от холода. А с фронта доносились далекие отголоски бухающей артиллерии. Казалось, этот день проведем не под обстрелом. Но только что вышли из лагеря, прошли не больше двух километров, как в воздухе зажужжали снаряды. Американская дальнобойная батарея двухразрывными снарядами открыла огонь по станции, расположенной впереди нас. Снаряды падали позади и с боков нашей команды.

— Товарищи! Остановитесь! — вдруг послышался слабый голос Иванова.

Колонна, как бы давно ожидая команды, остановилась.

— Да это же издевательство!.. — дрожа всем телом, посиневший от холода, продолжал Иванов.

— Скотина и та лучше живет!.. — поддержал Иванова Горячев.

Я и Костров Паша прошли вперед к рядам, где стояли Иванов и Горячев.

— В бараки ведите, камрад... — обратился я к конвоиру.

Тот пожал плечами, ответил:

— А что скажет лейтенант?

Видно было, что и солдаты с неохотой вели нас под снаряды, да еще в такую скверную погоду. Они сами, промокшие насквозь, ежились от дождя. Их жизнь также подвергалась ежеминутной опасности.

Прискакавший на лошади лейтенант обрызгал грязью передние ряды. Конвоирам он приказал загнать нас обратно в лагерь и построить вдоль бараков.

— Кто бунтовал команду?.. — наливаясь гневом, крикнул лейтенант, когда мы вытянулись вдоль бараков.

Сержант показал на Иванова и Горячева.

Я вздрогнул, обернулся в сторону Иванова и Горячева. Они стояли с бледножелтыми лицами, опустив головы на грудь. Лейтенант, брызгая грязью, подъехал к ним и скомандовал:

— Два шага вперед!

Пошатываясь, вышли из строя товарищи. Лейтенант приказал конвоирам Иванова и Горячева, как зачинщиков отказа от работы, привязать к столбу так, чтобы руки их были вытянуты вверх, а ноги чуть не доставали земли.

Зная, что всякое сопротивление бесполезно и оно мо-

жет еще больше озлобить лейтенанта, в распоряжении которого находилась вооруженная сильная охрана, Иванов и Горячев не сопротивлялись. Стиснув зубы, широко раскрыв опухшие веки, они смотрели на нас глазами, полными ужаса.

Нас всех по команде лейтенанта толчками поставили в строй, конвойные встали двумя шеренгами, — одна сзади, а другая впереди нас. Взяли ружья наперевес, острые штыки направили на нас — один к животу, другой к спине — и смотрели за каждым нашим движением, готовые одновременно с двух сторон проколоть пленных. Разумеется, в таком положении каждая наша попытка к самозащите была безнадежной. Она могла бы лишь привести к немедленному избиению. И лишь поэтому мы были вынуждены стоять бездейственными зрителями истязания наших товарищей.

В строю мы стояли по колено в грязи ровно два часа. Иванова и Горячева после этой пытки сняли полуживыми, с посиневшими лицами и бросили в погреб. А нас после двухчасовой стоянки заставили бегать, чтобы «разогреть» застывшую в жилах кровь. Истощенные, подгоняемые плеткой лейтенанта и прикладами капралов, мы падали словно мухи в грязь. Потом нас загнали в бараки, закрыли двери и не выпускали до утра.

Лишь только утром американские снаряды выгнали нас из лагеря. Спешно нас отправили на станцию и, погрузив в вагоны, отвезли в Бельгию.

—

Около двенадцати часов дня эшелон подошел и остановился у платформы большой и красивой станции города Арлон. При выходе на асфальтированную вокзальную площадь нас разбили на группы по десять человек... На каждую группу был поставлен усиленный конвой.

Город Арлон, оккупированный немцами еще в 1914 году, был запружен германскими войсками. Вдоль ровных асфальтированных улиц тянулись обозы. В парках дымились походные кухни, по улицам шпацировали верховые патрули.

С тротуаров и из окон домов боязливо смотрели женщины на наши жалкие лица. Со слезами на глазах мы просили подать хлеба. Мы заметили, как из окна третьего этажа на мостовую вылетел сверток. Мы разом бросились к нему, десятки рук потянулись вперед. Каждый стремился

схватить сверток. Полубуханка белого хлеба в одну секунду была разорвана на части.

Из домов выходили женщины, сначала робко оглядывались, потом смелее. Под фартуками они держали хлеб.

И ни грозные крики, ни приклады, ни выстрелы не смогли остановить одичавшую от голода массу. Мы рассыпались по улице и тротуару. Из каждого дома выносили нам хлеб, из окон бросали булки, папиросы.

Вот Паша подбежал к девочке, у которой в руках ломоть хлеба и немного сахара. Дрожащей рукой Паша схватил подаяние. Девочка старалась улыбнуться, но неожиданно сзади подскочил начальник конвоя и рукояткой нагана ударил по голове Пашу. Девочка истерически вскрикнула, испуганная побежала в дом. Окровавленный Паша упал в канаву, из рук посыпались сахар и хлеб. Разом нахлынувшая толпа голодных потоптала его ногами. Люди падали, ползком лезли, протянув руки вперед, стараясь поймать хоть крошку хлеба. Меня прижали к стенке каменного дома, над головой прожужжала пуля, зазвенело стекло: конвоиры открыли огонь по окнам.

Цокая подковами, прискакала кавалерия. Нас оцепили плотным кольцом и погнали за город. Сотни ружейных дул устремились в нас и в окна домов.

Я снял кусок тряпки, которой обматывал шею, и перевязал Паше голову. Рана оказалась неопасной. Рукояткой нагана была рассечена кожа, череп остался невредим. За городом, на первой остановке, я обмыл запекшуюся кровь на голове Кострова, а дядя Ваня остриг волосы и тщательно перевязал рану.

В семи километрах от города, в бывшем пансионе, нашу команду разместили на стоянку.

...На второй день утром нас на работу не выгоняли. Костров взглянул в окно и заметил, что у железных ворот пансиона, в котором мы помещались, собралось много народа. Паша позвал меня.

— Смотри!..

Группа человек в пятнадцать из местных крестьян и рабочих города что-то настойчиво требовала, напирая на конвоира. Последний держал винтовку наперевес, кричал: «Цурюк, цурюк!» Из караульного помещения выбежали солдаты. Вскоре появился и комендант. Оказалось, что эта была делегация от бельгийских рабочих и крестьян. Она пришла получить разрешение передать русским продукты. После долгого упорства комендант все же разрешил про-

пустить подводу, груженую хлебом, во двор. Но бельгийцам велел разойтись.

Однако делегация не уходила и потребовала раздать хлеб русским в их присутствии.

Нас построили в затылок по-одному. Капрал Лубе залез на подводу и раздавал резаные куски белого хлеба. Получив двести-триста граммов, мы сердечно благодарили бельгийцев за это скромное подаяние.

Весь день просидели в пансионе. Ходили разные слухи. Денисов уверял, что ему конвоир осторожно сказал, что будто немцы отступают, а русских оставят здесь. Костров даже подпрыгнул от радости, забыв, что у него болит голова. Я побежал в коридор нижнего этажа. Еще с утра я заметил, что у дверей стоял на посту Бецке, — он уж скажет правду...

— Бецке, Бецке! — вполголоса окрикнул я старого солдата-баварца.

Бецке посмотрел на меня, оглянулся на двор и вошел в коридор.

— Камрад, бум-бум капут?.. Русь домой? — спросил я.

Бецке покачал головой, потянул дым из длинной кривой трубки, ответил не сразу.

— Бум-бум капут нихт... Германия революцион... Русь идет туда... — он махнул рукой в сторону Франции.

— В Германии революция? — с удивлением переспросил я.

— Да, да... Дейч солдат бум-бум своя буржуй!..

От радости я схватил руку Бецке, чуть не выбив у него трубку изо рта, крепко пожал ее и убежал, не сказав ни слова.

— Товарищи, товарищи!.. В Германии революция... — закричал я вне себя.

— Что, что! Где революция? — окружив меня, спрашивали товарищи.

— Конвоир Бецке мне только что сказал: в Германии революция. Солдаты восстали против правительства, бьют буржуев. А нас...

— Что нас, в Россию?.. — спросил, просияв, Денисов.

— Нет... Он говорит — французам оставят...

С минуту царило молчание.

— Пусть французам... Лишь бы не здесь... — задумчиво ответил Иванов.

Денисов сел на подоконник и вдруг, сначала тихо, потом постепенно повышая голос, запел нашу «Песенку плен-

ных». Ее подхватили несколько голосов, и заунывный мотив полился за окно.

Из второго этажа пансиона виднелись стройные тополя, окаймлявшие прямую как стрела шоссейную дорогу, убегавшую вдаль. От ярких лучей осеннего солнца она, отшлифованная шинами, блестела как зеркало.

Под окном расстилался сад, яблони роняли пожелтевшие листья. Тихо чирикали воробьи, перелетая с одной яблони на другую. Упорно не сдаваясь наступающей осени, еще зеленой дремала акация.

А между тем за пределами пансиона быстро изменялись события. Бродили слухи о Германской революции, отступлении с фронта немецкой армии под обстрелом американцев... Это заставляло задуматься и нас о себе. «Что же будет с нами дальше? Куда погонят?..»

На следующее утро к воротам подъехали две подводы; на одной стояли бачки с супом, на другой хлеб.

На этот раз бельгийцы потребовали раздачу произвести самим.

С какой радостью получали мы из рук ласковых бельгийских девушек черпак супа и кусочек хлеба, с жадностью опоражнивая тут же на месте почерневшие котелки.

Паша сумел получить два раза, и белокурая девушка, улыбаясь ему, шепнула по-немецки:

— Германцам конец, русские поедут домой.

Слова белокурой бельгийской девушки сбылись, но не так, как она сказала.

В эту же ночь, двадцать шестого октября 1918 года, нас построили и погнали пешком.

Ровно сутки мы шли в неизвестном направлении. В глухую полночь остановились в небольшом и грязном городе Лонгви. Все улицы города были беспорядочно загромождены обозами. С трудом по-двое в ряд мы пробирались между повозками. Кругом слышался топот и ржание лошадей, окрики немецких солдат, брань, стук и шум.

Далеко за городом, где-то в темноте ночи, время от времени стонала артиллерия.

От взрывов снарядов вздрагивала мостовая.

Вскоре нас разместили в тесном театре, превращенном в уборную немецкими войсками.

Немцы спешно отступали, не оставляя ничего на своем пути, а утром, чуть свет, ушли и наши конвоиры.

Мы свободны... Свободны без куска хлеба в разрушенном городе!

Люди, вырвавшись из стальных цепей, торжествовали от радости, целовали друг друга. На миг забыли кошмарные дни плена. В мыслях воскресала надежда вернуться живыми на родину. Но короткими были наша радость и ликованье. К вечеру в город вступили американские войска.

...В Германии разгоралась революция. Измученные четырехлетней бойней, стальные войска кайзера восстали против него. Угрюмые, с затаенной злобой, отступали немецкие солдаты к Эльзас-Лотарингии, а по их пятам следовали союзники. Всем военнопленным русским, находящимся на территории Франции или Бельгии, было категорически запрещено, в связи с революцией, входить в Германию. С одной стороны, при затруднительном положении с продовольствием в Германии они стали не нужны немцам, а с другой — германское командование боялось, что русские примкнут к революционным войскам, что было вполне возможно. Поэтому на полях Марна и Шампани немцы бросили тридцать пять тысяч русских военнопленных, голодных и оборванных.

Эти несчастные люди, думавшие только о хлебе, о родине и теплом жилье, — попали из огня да в полымя: двадцать восьмого октября 1918 года американцы нас собрали в одно место, окружили конвоем, а через несколько дней отправили во Францию, в город Верден.

XII

Окутанное дождевыми тучами небо, казалось вот-вот расплачется холодными слезами. Сильный ветер врывался в открытую дверь пульмановского вагона, кружился в углах и со свистом вылетал на волю. Поезд мчался через фронтовую полосу от города Лонгви к Вердену.

Мелькали разрушенные станции, развалины деревушек. Извивались змейками кривые линии окопов. Куда ни кинешь взор, — кругом разруха, пустота и безлюдье, напоминавшие сплошное кладбище.

Над изуродованной снарядами землей висел свинцовый туман.

На другой день, ровно в полдень, поезд остановился у развалин Верденской станции. Выстроились на перроне и под конвоем американцев двинулись в город.

Перед нами открылась картина страшного разрушения:

тут мы увидели самое ужасное, что оставила после себя кровавая империалистическая война.

Мы шли по грязной дороге, между обуглившихся стен, служивших когда-то жилищами. Дождь смывал последние остатки запекшейся крови, образовав мутные лужи. Мертвецов давно уже убрали, но на обломках каменных груд еще валялись обрывки шинелей, солдатские ботинки с торчащими из них кусками ног. В канаве плавали стальная каска и человеческие волосы. Ни вправо, ни влево не было видно ничего, кроме развалин. В них свистел и стонал ветер. Холодный дождь свирепо бил в лицо.

Стиснув зубы я брел по жидкой желтой грязи рядом с Пашей Костровым. Бледножелтое опухшее лицо Паши отражало все пережитое. Голова склонилась на грудь. Изредка большими голубыми глазами он с грустью всматривался в опустошенные улицы, шептал с отчаянием в голосе:

— Вот оно, наследие империалистической игры!..

И я вспомнил, как еще в казарме, до отправки на фронт, Паша мне говорил: «Войны не хочу, а воевать хочется».

Странный был человек этот Паша. По природе неглупый, начитанный и честный, он прекрасно понимал все зло, которое несла война. Он видел, сколько горя, мучений, слез и глубоких неизлечимых ран оставляет она за собой. Не раз с негодованием и свойственной ему горячностью, смело и решительно, не задумываясь о возможных последствиях, он открыто выражал ненависть к тем, кто затеял кровавую бойню. Он ненавидел офицеров, издевавшихся над солдатами, и не терпел насилия, но вместе с тем война притягивала Пашу. Его увлекал грохот канонады, оглушительный гул взрывающихся снарядов, звенящий визг проносившихся над головами пуль и размеренный, строго ритмичный рокот пулемета.

Смотрел я на Пашу и недоумевал: как в одном человеке могут уживаться два совершенно противоположные чувства?

Как-то раз, оставшись наедине, я высказал свое недоумение Паше. Он на минуту задумался, а потом страстно ответил:

— Видишь ли, ты может быть меня и не поймешь, но я все-таки постараюсь тебе объяснить. Жизнь наша проклятая — это верно — и я ее ненавижу. Я ненавижу войну, потому что она несправедлива и нам, кроме нищеты, ничего не дает. Но в то же время я люблю, когда рвутся снаряды,

когда от этих взрывов сотрясается земля и разрушается все, что попадает им на пути. Мне кажется, что это рушится наша проклятая нищая жизнь, а за ней встает что-то новое, большое и светлое — понимаешь?

Да, теперь я понимал. Я прекрасно понимал Пашу, так как знал, что и дома ему жилось не легче, чем в солдатах.

Родившись в захолустной деревушке Самарской губернии, Костров Паша рос и воспитывался в небольшой крестьянской семье. Будучи двенадцатилетним, он лишился отца. Оставшись с одной матерью, Паша вместе с ней трудился на клочке земли. На зиму уходил в город, нанимался мальчиком к торговцу мукой. Ворочал мешки, разносил муку по квартирам купцов и чиновников. Когда Паше исполнилось шестнадцать лет, он поступил на завод чернорабочим. Уже тогда среди рабочих было брожение, росло недовольство против существующего строя и начавшейся войны. Но Паша, получив религиозное воспитание, тупо воспринимал, вследствие своей молодости, революционное настроение рабочих. Зарабатывая восемьдесят копеек в день, он довольствовался сухим хлебом. Часть денег посылал старушке-матери.

Через два года его взяли на военную службу. Простившись с матерью и старшим братом, больным туберкулезом, который тот получил в кочегарке волжского парохода, Паша уехал. В Кострове сказался пылкий и в то же время упрямый характер. Однако первое же сражение, атака Паше показали всю нелепость, бессмысленность неумелого командования царских офицеров. В нем еще больше воспламенилась ненависть к начальству.

Пройдя страшный путь германского плена, Паша понимал, знал теперь виновника всех наших бед и страданий.

Мое сердце сжималось от боли. Мысли путались, уносились в прошлое. Вспомнились бои на русском фронте, разгромленные деревушки, разбитые города, опустошенные поля Литвы и Латвии и тысячи, тысячи беженцев, оставшихся без крова. Теперь, когда я глядел на страшные развалины Вердена, этой твердыни Франции, мне казалось, что весь мир — сплошная разруха, кладбище мертвецов... Только теперь, пережив и испытав на себе все тяжести войны, с полной ясностью представлялась картина бессмысленной варварской бойни. Больше и больше появлялись отвращение к войне и ненависть к тем, кто начал ее.

...Через час мы остановились на широком плацу, обнесенном высокой каменной стеной, с бойницами на углах и

земляным валом. Впереди виднелись двухэтажные корпуса, в стенах которых зияли черные дыры, пробитые снарядами. Окна заделаны фанерой; это были крепостные казармы.

В казармах уже находились русские, прибывшие еще до нас из Шампани.

При распределении по корпусам к нам присоединились Митя Денисов, Иван Горячев и дядя Ваня. Мы все вместе разместились в одной комнате второго этажа. Костров и я сильно жалели, что Иванов не попал с нами вместе.

Коек и постельных принадлежностей не было. На полу вдоль стен валялась грязная, перетертая от времени солома; на ней мы и сложили свои вещи.

Дядя Ваня в нашей группе был старше всех. Невысокого роста, он имел широкие плечи. Его лицо густо обросло черной бородой, местами выступала седина. Темные глаза под густыми бровями все время быстро бегали. Дядя Ваня любил пошутить, он знал много небылиц из украинского быта, и мы, молодые, любили послушать его рассказы в длинные осенние бессонные ночи. Слушая дядю Ваню, мы забывали на миг свою тяжелую пленную жизнь. За рассказы, остроумные шутки, за тихую жизнь, — дядя Ваня стал одним из любимцев всей команды. И сейчас, когда дядя Ваня готовился разложить свои вещи на соломе, Паша и я поспешили занять место рядом с ним.

— Чего прете, голота несчастная!.. — шутя говорил дядя Ваня.

— Ну, ну не сердись, дядя Ваня, мы хотим с тобой рядом, — ответил Паша.

— Рядком, так сидай спокойно, ато глянь, який порох пидняли, хоть сокиру вешай. Солома-то на що тут три року лежит, задыхнутись можно.

Действительно, от движения людей в комнате поднялась такая пыль, что пришлось открыть двери. Люди чихали, плевали и харкали.

Дядя Ваня, зажимая рукой рот, ворчал:

— Бусурманы, лягалы бы и дрыхли! Якую возню пидняли...

— Ничего, дядя Ваня, потерпи. Теперь не в плену, а в гостях у союзника, — скоро дадут и матрацы и койки. Заживем!.. — хлопнув по плечу дядю Ваню, весело крикнул Денисов.

— Раскрывай рот шире, манна посыплется, — огрызнулся дядя Ваня.

Все засмеялись.

— Откуда прибыли?.. — спросил нас высокий и худой сосед.

— С Марны... — ответил я.

— А лагеря какого?..

— Лагеря Вормса, а были мы в железнодорожной команде в окрестностях Лонгви... А вы откуда?

Я сел на табуретку рядом с новым знакомым.

— Мы из Шампани... На Рейне работали.

— А здесь давно уже?..

— Третий день сидим.

— Что же слышно? Отправлять в Россию будут?

Собеседник махнул рукой, на минуту задумался.

Тем временем я рассматривал его маленькое бледножелтое лицо. Вокруг больших серых глаз — глубокие впадины, окаймленные синими кругами. Темнорыжие усики топорщились ершиком. Худые, только-что выбритые щеки нервно вздрагивали.

В комнате помещалось около двадцати человек. Люди быстро знакомились, рассказывали друг другу о жизни в других лагерях, делились своими впечатлениями.

— Навряд ли скоро уедем... — снова начал мой собеседник, — мы, дружок, попали из ада в пекло...

Я с удивлением посмотрел на него.

— Да, не удивляйся, — продолжал он, — в России гражданская война, большевики, Красная армия, а на окраинах белые... Куда нас отправят?.. К белым мы не поедем. До красных нас не отправят...

Я еще ни разу глубоко не задумывался, что происходило в России. Мы были оторваны ото всего мира. Все стремились в Россию, а как попасть в нее, об этом никто не знал.

Брошенная моим собеседником мысль глубоко засела в моем зарождавшемся сознании.

Высокого худого солдата, как я узнал из разговора, звали Сергеем Чаповым. Он привлек к себе мое внимание. Каждое слово, сказанное им, я с жадностью ловил, осмысливая его. Но наш разговор перебили. В комнату скользнул юркий француз.

— Получать суп!.. — крикнул он и исчез за дверью.

Все вскочили. Звеня котелками, разом рванулись в коридор. Обгоняя друг друга, каждый спешил занять очередь поближе.

— Поживешь — узнаешь... — вставая, сказал Чапов.

Из полуразрушенного сарая клубами валил пар, по

улице разносился приятный запах мясной похлебки. Голодные пленники, услышав этот запах, почувствовали еще больший голод и с нетерпением топтались на месте. Тысячи людей, выстроившись в очереди, растянулись во весь двор круто изломанными линиями.

Два краснощеких француза, обливаясь потом, усердно разливали по котелкам жирный бульон, третий выдавал из ящиков по четыре галеты на человека.

Каждый, получив порцию, бежал в свою комнату.

— И в жизни такой не едал, пра не едал!.. — возбужденно восклицал Назаров. — Вот так похлебка, не то что костяная болтушка у немцев! Ах... смотри-ка, дядя Ваня... — Назаров набрал ложку жира и поднял ее вверх, потихоньку сливая в котелок.

— Де ж тоби идаты такий в своей рязанщине, як ты тильки що из-под маткиного подола та и воевать пийшел, а там хлопца в полон захопили нимцы?.. А як вот у нас, на Украине, не тэ!..

Назаров слегка покраснел, но не обиделся на дядю Ваню. Он не хотел считать себя мальчиком, ему было уже двадцать лет.

— А что же у вас на Украине такое бывает? — с любопытством допрашивал Назаров.

— А у них галушки из окропа хлебают, да медом запивают!.. — смеясь, крикнул Денисов.

— Хиба це ни гарно?.. На вашей бессарабщине кишки кукурузой набивали и казали — це мед.

Комната огласилась смехом. Жирный бульон, вкусные белые галеты подняли настроение людей.

Назаров по привычке старательно вылизывает пальцем котелок, приговаривая:

— Еще бы котелочек... нет, два бы еще! Да впрочем и десяток галеток не мешало бы, — тогда забыл бы весь немецкий голод...

— Я бы сейчас, кажется, ел день и ночь и не наелся бы, — отвечал Денисов. — Но спасибо и за это французу. Если так будет кормить, поправимся враз.

Костров Паша все время молчал. Вдруг быстро встал. Мне показалось, что его лицо еще больше побледнело, руки дрожали, глаза лихорадочно вспыхивали.

— Это он!.. Я не ошибаюсь!.. — забормотал Паша.

Десятки глаз устремились на Пашу. Дядя Ваня сострил:

— Вишь бульон-то як подействовал...

На шутку дяди Вани никто не ответил. Паша маши-

нально поставил котелок с недоеденным супом на грязный столик и вышел в коридор.

Я последовал за ним.

— Паша, что с тобой? Ты болен?..

Вместо ответа Паша схватил меня за руку и потащил к окну.

— Я видел его!.. Вон там. Он стоял в очереди...

— Кто он, о ком ты говоришь?..

Паша мгновенно взглянул на меня как бы в недоумении, быстро ответил.

— Шаргунов...

— Что? — невольно вскрикнул я. — Не может быть!

— Да. Я не ошибся, это был он.

Я оглянулся, — в коридоре не было ни одной души, из комнат доносились голоса товарищей.

Паша стоял, плотно стиснув зубы, молча смотрел в окно. Начинало смеркаться.

— Бедный Коля, — проговорил я вслух, вспомнив умершего Суркова, — он хотел отомстить Шаргунову.

Паша задрожал всем телом, глаза вспыхнули.

— Эта гадина еще живет! Я ему отплачу за все! — Паша бросился по коридору к лестнице.

— Стой, Паша! — вдруг крикнул Чапов, незаметно появившийся в коридоре. — Ты что, аль с ума сошел?.. Кому — отплачу?..

— Я... так, никому. Просто пошутил... — смущенно сказал он.

— То-то. Иди-ко, малый, отдохни. Ишь как лихорадит тебя!

На другой день после завтрака, состоявшего из литра сладкого кофе и пары галет, капралы забегали по комнатам, спешно выгоняя русских за получением обмундирования.

Мы стали похожи на людей. На каждом была новая шинель, шаровары, гимнастерки и русские сапоги.

Жизнь менялась уже не по дням, а по часам. В этот день, кроме бульона и галет, выдали еще по банке консервов и по пятьсот граммов белого хлеба. К вечеру обещали дать койки и матрацы.

— Ну, чорт побери, значит заживем по-человечески! — восклицал Денисов.

Костров Паша и сегодня был не в духе. После обеда он вышел из комнаты, долго бродил по длинному коридору, а к вечеру куда-то исчез. Вернувшись поздно, долго беседо-

вал с Сергеем Чаповым. День ото дня Паша становился все более и более задумчивым.

Сережа Чапов, наш новый знакомый, много рассказывал о том, как рабочие Брянского завода, где он работал, боролись с эксплоататорами, а он, Чапов, состоял в кружке подпольщиков и не раз был арестован.

Для нас, так мало видевших жизнь, все это было очень интересно. Мы с охотой слушали Чапова, и он стал всеми любимым товарищем.

Прошла неделя. Пища все улучшалась. Мы постепенно стали забывать голодовку; к тому же и французские офицеры и комендант казарм были к нам очень ласковы и добры. Мы начали организовывать музыкальные, драматические кружки. Инициатором их был Чапов. Денисов разыскал гармониста, скрипача и цимбалиста, привел их к нам в комнату жить. Дядя Ваня начал мастерить бубен из собачьей шкуры, украшая его разными побрякушками.

Цимбалист Левицкий заканчивал корпус цимбалы; он натягивал тоненькие струны из электрических проводов. Нашлись игроки на гитаре и мандолине. На добытые деньги решили купить недостающие музыкальные инструменты.

Первым оформился драматический кружок. Денисова выбрали старостой, а мне предложили исполнять женские роли. Я долго не решался, но делать было нечего — и я начал шить платье из одеяла, которое Денисов стащил у французов в кладовой.

Первая постановка прошла удачно. Зрителей оказалось больше, чем мы ожидали. Тесная комната нижнего этажа не могла вместить всех желающих посмотреть. Люди стояли на окнах, в дверях и даже в коридоре на скамейках.

Сцену соорудили из длинных столов, составив их вместе; занавес — из одеял.

Сгорая от стыда, я впервые выступил на сцену в неуклюжем женском платье; оно на мне болталось и не давало возможности свободно двигаться по сцене.

Зал огласился взрывом смеха, но я не растерялся и выполнил свою роль до конца. Больше всех рассмешил зрителей дядя Ваня: он выступал в этот вечер клоуном. «Спектаклем» люди остались очень довольны.

Казалось, жизнь вошла в нормальную колею. Люди, оправившись после голодного плена, быстро забывали прошлое. И вдруг, в один час, словно стихия взбудоражила мирную жизнь лагеря.

XIII

Через несколько дней пребывания в казармах, как-то после обеда, в комнату вошел краснощекий сержант и заявил нам, чтобы мы все выходили строиться на плацу. Приедет генерал.

Когда сержант скрылся за дверью, Чапов сказал:

— Послушаем новости. Я предчувствую недоброе, уж больно ласковы к нам французские офицеры, это не перед добром...

— Может быть скоро отправят в Россию? — спросил Назаров, застегивая новую шинель, и добавил: — Шинель попала очень хорошая, в России такой не носил.

— С какой стати вдруг всех пленных обмундировали? — продолжал Чапов.

— Просто потому, — вмешался в разговор рябоватый парень Соколов, еще с опухшим лицом после немецкой голодовки, — что война на исходе, русские корпуса с французского фронта ушли, некуда девать обмундирование, вот и выдали его нам.

— Нет, парень. Думаешь, пожалели, что мы голодные да босые от немцев пришли? Тут надо смотреть поглубже, — с запалом, повышая голос, говорил Чапов.

— Ну, пошли, ребята, — крикнул Паша, — а то вон опять муссю за нами бежит!

Один за другим, лениво покачиваясь, выходили пленные из комнат, строились на широком плацу в колонны по четыре человека.

Вдоль офицерского корпуса, с заткнутыми за пояс шинелями, стоял взвод французских солдат. Справа духовой оркестр наигрывал марш. Над головами многотысячной толпы русских густым облаком стлался синий дым табака. Шум, гам, крик и смех — все сливалось в один общий гул. Построением колонн никто не руководил.

Французские офицеры нервничали, с нетерпением и тревогой ждали генерала. То-и-дело всматривались вдоль шоссе. Вдруг один из них круто повернулся на каблуках. Раздалась команда «смирно». Взвод вытянулся в струнку. В это же время в ворота скользнул голубой автомобиль, описав круг, остановился в нескольких шагах от нас. Офицер взял под козырек. Из машины вышел тучный генерал. Он молча принял рапорт от офицера, повернулся лицом к нам, поздоровался.

— Здравствуйте, русские!..

Среди нас стихли голоса, люди потянулись вперед на носках, чтобы увидеть генерала. Задние ряды напирали на передние. Все с нетерпением желали услышать, что же скажет генерал.

Два французских солдата вынесли из казармы стол. Генерал при помощи офицеров влез на него, поглядел на нас, — начал говорить по-французски. По жесту его руки на стол прыгнул офицер, — переводчик, прибывший с ним вместе.

— Вот здесь, в трех километрах, — переводил офицер слова генерала, — на полях под Верденом, на левом берегу Мааса, русский корпус отразил противника. Они, русские, не щадя своей жизни, шли в атаку, умирали во имя защиты своей союзницы Франции. Франция, — продолжал офицер, — была и будет лучшим другом русских. Счастлив тот день, когда вы освободились из-под ига бошей и попали к нам во Францию.

Ряды русских заколыхались, пробежал шопот... Какой-то старичок даже перекрестился, по его морщинистой щеке скатилась слезинка. А громкий голос генерала звучал внушительно и строго. Офицер переводил:

— Но Франция требует от вас за приют работы... — Офицер на секунду замолчал. Русские боязливо переглянулись. Генерал положил левую руку на эфес сабли, вызывающе поглядел на русских. — Генерал передает, — продолжал офицер, — что ваша страна разорена, разграблена большевиками, и спешить вам на родину нечего. Поработаете во Франции месяц-два и тогда мы вас отправим в Россию.

— В какую Россию?.. — кто-то крикнул из толпы русских.

Офицер посмотрел на генерала и продолжал:

— В Россию, которая будет освобождена из-под ига большевиков. А кто из вас желает ехать сейчас бороться с большевиками, пусть явится в штаб и запишется в легионы для пополнения великой русской армии. Мы немедленно их отправим.

Офицер замолчал. Молчали и русские.

Холодные глаза генерала застыли над многотысячной толпой русских, на мгновение пораженной неожиданными его словами. Вдруг передние ряды качнулись, из массы вынырнул человек. Он решительно остановился против генерала.

Я приподнялся на носки и увидел Пашу Кострова.

— Господин генерал! — сдавленным от волнения голосом крикнул Паша. Русские насторожились. Генерал опустил глаза вниз на смельчака и его густые брови нахмурились. — Господин генерал, — повторил Паша, — разрешите мне сказать слово!

Офицер придвинулся к генералу, что-то шепнул ему на ухо. Генерал кивнул головой.

Паша прыгнул на стол и встал рядом с генералом. Его глаза то-и-дело вспыхивали искорками, щеки порозовели, он быстро взглянул на шумевшие волны серой массы пленных и крикнул:

— Товарищи! Генерал говорил, чтобы мы не ели даром хлеб во Франции, а должны его заработать. Не хочешь работать, — иди воевать против большевиков! — Паша повернулся к генералу. — А я спрашиваю вас, господин генерал: где наша родина? У генерала Деникина, к которому вы хотите нас отправить? Нет! Товарищи, наша родина — Советская Россия, а защищать армию капиталистов мы не намерены.

Тысячная толпа всколыхнулась и зашумела, послышались выкрики.

— Правильно! Отправляй в Советы!

Паша быстро спрыгнул со стола и исчез в передних рядах.

— Кто это? — услышал я голос позади себя.

— Пашка, из соседней комнаты, — отвечал парень с болезненным бледным лицом.

— А здорово ошарашил генерала, — продолжал первый голос. — Смотри-ка, так и стоит столбняком. Молодец парень!..

Вместе с дымом, клубившимся над головами русских, в серый пасмурный день неслись тысячи разных голосов. В шуме ничего нельзя было разобрать. Колонны расстроились. Люди стояли кучками, кричали и спорили. После некоторой паузы генерал поднял руку. Постепенно голоса затихали.

— Русские, подумайте! Французское правительство не желает вам сделать зла. Но если вы сами этого хотите, не обвиняйте его...

Он быстро спрыгнул со стола, козырнул вытянувшимся офицерам, сел в машину. Мелькнул радиатор перед глазами и голубой автомобиль бесшумно повез генерала.

С оживленным говором расходились русские по корпусам. Небо раскалывалось вечерней зарей, она бросала

слабые ало-желтые оттенки на развалины города, заглядывала в окна полуразрушенных казарм, медленно потухала. Наступали сумерки.

В длинных темных коридорах суетятся люди. Бегущие вниз сталкиваются на лестнице с другими, спешащими вверх, ругаются, бегут дальше. Беспрерывно стучат двери в комнатах первого и второго этажей. Везде чувствуется чрезвычайное оживление, люди кричат, спорят между собой.

В темных проходах появляются таинственные человеческие тени, разговаривают вполголоса, прислушиваются, исчезают и вновь появляются.

В этой суматохе я потерял Пашу и Сергея Чапова. Они еще после ухода с плаца куда-то исчезли, даже дяди Вани в этот вечер не было на своем месте. Я с трудом пробирался по коридору, останавливался перед каждой дверью, прислушивался к голосам с надеждой узнать голос Паши или Сергея.

У дверей одной комнаты я остановился. Из-за нее доносился чей-то грубый голос, он мне показался знакомым. Но открыть дверь я не решился.

— Правильно ты говоришь, Тимофей Петрович, — вдруг я услышал другой голос, когда кончил первый.

Я вздрогнул и подумал: «Тимофей Петрович, Шаргунов Тимофей Петрович». Любопытство привлекло меня, я придвинулся к двери и насторожился.

— Если мы не согласимся работать во Франции, — продолжал голос Шаргунова, — нас будут морить голодом, как в Германии. Посадят за проволоку. А на работе дадут хлеб и свободу... Почему нам не пойти в легионы? — помолчав, спрашивал Шаргунов. — Пусть отправляют к Деникину... Ведь там, на родной земле, мы сможем уйти, куда желаем. Не правда ли?..

— Конечно, так! — отвечал надтреснутый голос. — Нечего и думать о сопротивлении французам.

«Сволочь!» — удаляясь прошептал я.

В другом конце коридора я снова остановился. Из открытых дверей комнаты вырывались мутный свет и клубы табачного дыма.

В глубине комнаты хриповатым голосом Иванов отчетливо выговаривал каждое слово. Услыхав Иванова, я обрадовался и направился туда. В комнате было полно лю-

дей, стояли на нарах вплотную друг к другу. Тусклый свет свечи падал на возбужденные лица слушателей.

— ...Товарищи, я правильно говорю, — продолжал Иванов, — если мы согласимся работать во Франции, на ее буржуазию, нас скоро в Россию не отправят, а будут держать в лагерях и эксплоатировать, как вьючных животных. Я предлагаю требовать немедленной отправки в Советскую Россию. И если мы будем добиваться этого организованно — отправят!

— Правильно, Иванов! — послышались голоса.

— Я предлагаю избрать лагерный комитет, — продолжал Иванов, — вокруг которого мы можем организоваться, а без руководства, без лагерного комитета, мы — ничто, и французы могут нас заставить танцовать под свою дудочку.

— Так, так! — зашумели опять голоса.

— А кто желает ехать на защиту царской России, мы не держим, пусть едет, таких нам держать и не следует!

Кое-как с большим трудом мне удалось протиснуться ближе к оратору. Высокому с худым лицом парню я наступил на ногу. Маленького с вытянутой шеей человека нечаянно ударил головой в щеку, он ткнул меня в бок локтем, выругался: «Дьявол, не вишь что ли, — прешь». Но я не обратил на него внимания и вскоре стоял рядом с оратором. Иванов, опираясь руками на грязный стол, пристально всматривался в толпу. Он говорил порывисто, в его голосе звучали уверенность и настойчивость. Но несмотря на все это Иванов был сильно взволнован. После каждого его выступления люди шумели и спорили, не понимая хорошо друг друга. В дверях показались новые лица. Иванов с тревогой взглянул на людей. Зашумели пуще прежнего, послышались громкие голоса. Все устремились к двери.

— Позвольте, позвольте мне сказать слово! — вдруг послышался чей-то резкий голос. Все замолчали. Я вздрогнул. Этот голос я уже слышал.

— Я считаю неправильным, что говорит Иванов, — продолжал тот же голос. — Зачем нам выступать против французской власти? Если бы не они, мы бы сдохли с голоду. А сейчас мы получаем хорошую пищу. Генерал говорил: поработаете месяц-два и тогда отправят в Россию. Почему не поработать? За это нам заплатят. А если будем сопротивляться, нас посадят на строгий режим. Не так ли я говорю?

— Да оно бы и так... — вырвался чей-то нерешительный голос.

— Врешь, мерзавец! — вдруг раздался голос Паши.

Я поднялся на койку В проходе дверей стоял Паша, наступая на здоровенного мужчину с черной бородой, который пытался выскользнуть в коридор, но Паша загородил ему проход. Я сразу узнал в нем Шаргунова.

— Ты — гадина! — вне себя от гнева и ярости кричал Паша. — Я слышал, ты еще в коридоре подговаривал людей, чтобы ехать до Деникина...

Паша со сжатыми кулаками бросился к фельдфебелю. Я мигом спрыгнул с нар, расталкивая людей, встал рядом с Пашей. Я задрожал словно в лихорадке. Я крикнул:

— Товарищи, я слышал — Шаргунов сейчас проводил митинг в своей комнате, призывал людей записываться в белые легионы.

В комнате поднялся шум. Понеслись голоса негодования.

— Ты — сволочь, душегуб!.. — продолжал кричать Паша, сжимая кулаки. Его глаза блестели злым огоньком, из груди вырывалось порывистое дыхание. Шаргунов на минуту опешил, но, оглянувшись по сторонам и увидев своих людей, уверенно сказал:

— Я никому зла не сделал, а советую не травить людей против французской власти!..

— По-твоему: или работать на буржуев, или ехать к белым, воевать против советов? Так выходит?!.

И когда Паша готов был прыгнуть на Шаргунова, а я горел желанием вцепиться в косматую бороду его, между нами встал неожиданно человек; он посмотрел в глаза Шаргунову и проговорил:

— А-а-а, это вы, господин старший? — и обернувшись, продолжал. — Товарищи, из-за него я в Германии на столбе висел и вы наверное такое удовольствие имели. Это — бывший наш старшина Вормского лагеря! Первый подлизник и шпион!..

Слова незнакомца, словно электрический ток, ударили по сердцам. Люди заволновались. Каждый вспоминал гнусных предателей, старших команд, которые за лишнюю порцию готовы были продать себя немцам, а товарища на смерть....

— Долой их... Вон из лагеря! — кричала рассвирепевшая толпа. — Душить их надо, мерзавцев!

— Товарищи, товарищи! — вырывался из глубины комнаты голос Иванова, но его слова заглохли в общем шуме. Шаргунов прыгнул к Паше, толкнул в грудь его так неожиданно, что Паша не успел преградить дорогу, как уже

он исчез в темноте. Я бросился за ним, но неожиданно упал, ударившись лбом об пол: кто-то мне подставил ногу. Толкая друг друга, выбегали из комнаты люди, полные злобы и ненависти. В темном коридоре слышались отчаянные голоса:

— Лови... держи его!

Гулко раздавались тяжелые шаги по корпусу, хлопали двери, где-то звякнуло стекло.

На улице грохнул выстрел, из караульного помещения выбежал конвой.

Борьба продолжалась. Лагерь раскололся на две группы. Почти ежедневно из корпусов казарм выходили люди с вещами, направлялись к коменданту, записывались на работу. Из поляков, эстонцев, латышей и финнов организовались добровольческие легионы. Их снаряжали амуницией и отправляли на родину.

Большинство же пленных, во главе с лагерным комитетом, под руководством Иванова, Чапова и Кострова, не хотело итти ни на работу, ни в легионы, — требовало отправки в Советскую Россию.

Мы поняли, что теплая встреча, ласковое и доброе отношение офицеров к нам было не что иное, как ловушка. Нас пытались использовать для белой армии, в борьбе с большевиками. И когда мы решительно отказались от такого предложения, — лагерь разбили на два режима — «А» и «Б». Группами рассылали по разным лагерям. Для режима «Б» назначались самые плохие условия концентрационных лагерей.

В конце декабря 1918 года мы второй партией были отправлены из Вердена.

XIV

В четырнадцати километрах от Вердена, на крутом косогорье раскинулся лагерь Никцевиль. Внизу, у подножья лагеря, тянулась шоссейная дорога, а за ней на несколько километров стлалась равнина. Там вдали плотной стеной стоял большой бурый лес.

С другой стороны лагеря, с юга, косогорье уходило в высь и вершиной упиралось в горизонт неба.

На этом крутом косогорье и расположился лагерь, в

Военнопленные, работавшие на фронте, больные туберкулезом.

котором было двенадцать деревянных бараков, обнесенных в четыре ряда проволочным заграждением.

Был пасмурный декабрьский день. Со стороны равнины дул сильный ветер. Дождь вместе со снегом бил в маленькие квадратики барачных окон, барабанил по толевой крыше. С крутого косогорья мчались к баракам ручьи воды. Вода просачивалась внутрь бараков, и земляные полы превращались в сплошное болото липкой грязи.

Мы помещались на двухэтажных нарах из проволочной сетки, без матрацев и одеял, целыми днями просиживали на нарах, ибо пройти по растоптанной грязи нам стоило больших трудностей. Электрического света, как и в самом Вердене, у нас не было. Французы выдавали по две свечки на каждый барак, в котором помещалось сто человек. Настроение было натянутое, среди нас было много шпионов. Те, кто были сторонниками французов, предлагавшие итти работать или уходить в добровольческие легионы армии Деникина, открыто агитировали массу. Они говорили:

— Нас заморозят здесь, заморят голодом, а если согласимся работать, будем жить вольно и в хороших лагерях.

Особенно агитировал всех Шаргунов, который после верденской истории какими-то судьбами остался жив. Теперь он организовал группу из своих сторонников и вместе с ней вел борьбу против лагерного комитета. Сторонников этой группы было только двадцать человек. Они хотели расстроить лагерь, чтобы целиком всех отправить на работы.

Не выдержав, боясь повторения голода, многие, большей частью по ночам, уходили из лагеря и записывались на работы.

Положение становилось критическим, наша организация распадалась. Строгий режим лагерных условий давил русских, еще не оправившихся как следует после немецкого плена. Голод с каждым днем чувствовался все сильнее. Горячие обеды мы получали только через день-два. Особенно остро ощущался недостаток воды в лагере, а из-за этого и не готовились обеды.

При всех этих условиях работать лагерному комитету было чрезвычайно трудно. Для руководства комитетом требовался крепкий, энергичный, решительный человек. Таким человеком был Сергей Чапов, а его верным помощником — Паша Костров.

Иванов, при отправке из Вердена, был отправлен в ла-

герь Суэм с первой партией. Мы жалели его, но, с другой стороны, желали этого. Для организации общей борьбы надо было вести работу во всех лагерях. А на Иванова мы все надеялись.

Через несколько дней после прибытия в лагерь Никцевиль комендант лагеря предложил нам возить воду для всего лагеря на себе. Волей-неволей, несмотря на наши протесты, нам пришлось по очереди на своих спинах возить в лагерь воду. Но когда в первый день мы поехали за водой, то двадцать человек были не в силах вытащить одну бочку по крутому косогорью. Колеса вязли в грязи по самую втулку и везти было невозможно, а от лагеря было ровно полкилометра. Мы поняли гнусную затею коменданта: это было настоящее издевательство, и мы категорически отказались от такой работы, заявив: «лучше голодать будем, а за водой не поедем».

День и ночь заседал лагерный комитет. Обсуждались вопросы, которые волновали каждого человека, живущего в лагере.

Сергей Чапов решил пойти сам к коменданту, переговорить с ним об условиях жизни русских в лагере.

На следующее утро он встал рано. Лицо его было бледное, озабоченное, высокая фигура его казалась осунувшейся и сгорбившейся. Сергей молча натянул грязные сапоги и сказал мне:

— Идем к коменданту — просить воды...

Я оделся, разбудил Пашу и шепнул ему, что мы идем к коменданту.

По дороге, почти у самой калитки, мы встретили Шаргунова. Шаргунов, скривив губы, улыбнулся, поздоровался с нами, но мы, как бы не замечая его, прошли мимо.

— Видишь, на доклад ходил... Сволочь! — сказал Чапов.

— Деньги за это получает... — ответил я.

У входа в лагерь стоял постовой с карабином на плече. Увидев нас, постовой крикнул по-немецки:

— Стой!

Услыша немецкий голос солдата, я подумал: «лотаринтец», а Сергей по-немецки ответил:

— Мы идем к коменданту.

Часовой взял карабин на плечо, кивнул утвердительно головой. Мы прошли к маленькому дому, где жил комендант. На крыльце остановились. По небу мчались разорванные облака. Над равниной, у подножья горы, расстила-

ся густой туман. Ветер трепал трехцветный флаг, развевавшийся над дверями комендантской квартиры. Я оглянулся на мрачный, еще погруженный в сон лагерь.

Чапов постучал в филенчатую дверь. На пороге появился белокурый денщик коменданта. Солдат недоумевающе взглянул на нас серыми глазами и спросил по-французски:

— Что вам нужно?

— Я хочу говорить с комендантом, — тоже по-французски ответил Чапов.

Солдат быстро повернулся, исчез за дверью. Вскоре дверь вновь отворилась, тот же солдат кивком головы велел следовать за ним. Когда мы вошли в комнату, комендант сидел в кресле и читал газету. Перед ним на столе стоял остывший стакан какао, в пепельнице дымилась недокуренная сигара. При виде нас комендант положил газету в сторону и холодным, испытующим взглядом посмотрел сначала на Сергея, потом на меня. Я спокойно выдержал его взгляд.

Комендант взял сигару, потянул в себя дым и вытянулся в кресле.

— Чем могу служить русским? — спросил комендант. В его голосе я заметил насмешку, превосходство над нами.

Лицо Чапова дрогнуло; выпрямившись, он ответил:

— Я председатель лагерного комитета...

— Очень рад познакомиться, — перебил комендант, — надеюсь услышать от председателя разумные слова. — При этом комендант выпустил изо рта клубы дыма и поправился в кресле. Лицо его слегка прояснилось. Он указал на стоящее пустое кресло, пригласил сесть.

— Мерси, я постою, — ответил Сергей.

— Садитесь, садитесь, — поспешил комендант, — я давно собирался по душам поговорить с представителем от русских. Я много слышал о них...

В моей голове невольно возник образ Шаргунова, встретившегося у ворот лагеря. Комендант продолжал:

— Франция уважает героев. Наш народ любит отважных и смелых людей. Чего вы стоите? Садитесь... Андре! — крикнул комендант солдату.

В дверях появился белокурый денщик.

— Андре, подайте горячего какао!

Солдат скрылся в дверях. Скоро он вошел снова с подносом в руках. Шоколадное какао испускало приятный аромат. На подносе лежали свежие галеты. Чапов неловко

опустился в кресло возле стола, я продолжал стоять. В маленькой квартире коменданта было очень тепло. На стенах висел портрет президента Пуанкаре и портреты знатных генералов.

Комендант еще раз испытующе посмотрел на Сергея, меня пригласил сесть и сказал:

— Кушайте, мусье, — и добавил еще: — уж мы не так-то противны и злы, как нас считают некоторые русские.

Мне стало не по себе. Чапов поправился в кресле, он знал, зачем шел к коменданту, он знал и то, что тысяча русских ожидает ответа.

— Господин комендант, я хочу с вами поговорить... — неловко начал Чапов:

— Да, да, я вас слушаю, мусье. Можете говорить со мной вполне откровенно. Франция надеется, что вы окажете ей услуги. Мое правительство готово во всякое время отблагодарить вас, если вы изберете другой, более благоразумный путь. Итак, я вас слушаю.

Сергей встал.

Комендант многозначительно посмотрел на Чапова, потом взгляд опустил на стакан какао, сверху которого застыла бурая пленка.

— Я, как представитель от тысячи русских, заточенных в лагере и находящихся здесь в нечеловеческих условиях, должен буду передать вам протест против издевательства над нами.

Офицер поднял голову и насторожился.

— Я... причина вашего несчастья? Вы ошибаетесь, мусье. Те из русских, которые согласились работать, великолепно живут. Для них открыты ворота лагеря. Почему бы и вам не жить так?

— Только враги Советской России работают у вас, — заявил я, — мы их не считаем своими, они продали себя... Мы работать не будем.

— И повторяем, напрасно вы этого добиваетесь, — добавил Чапов.

Комендант поднялся с кресла во весь свой рост. Постучал пальцем по столу, вокруг его рта появились складки, чисто выбритое лицо потемнело. Брови сошлись у переносицы.

— Чего же вы от меня хотите? — официальным тоном спросил комендант.

— Мы хотим, мы требуем, чтобы воду в лагерь возили на лошадях, а не на наших плечах, чтобы каждый день нам

готовили обед. Мы требуем, чтобы каждому выдали матрац и одеяло, — твердым голосом ответил Сергей.

— Ах, так! — воскликнул комендант. Он подошел к окну и раскрыл форточку. Затхлый сырой воздух ворвался в комнату. Комендант взял из коробки сигару, обрезал конец, закурил и, помолчав, продолжал:

— Чего же вы, мусье Чапов, от меня хотите? — повторил вопрос комендант. Его лицо уже сделалось злым, слова — сухими и резкими.

Сергей, услыхав свою фамилию, удивился, отступил назад, но не показал вида, что удивлен.

Вспомнив о Шаргунове, я подумал: «шпион, фамилии руководителей лагеря сообщил коменданту».

— Я уже вам сказал, господин комендант....

— Так, так. Я слышал. Воды, матрацы, одеяла. Вы хотите, чтобы я был вашим слугой? — воскликнул комендант, останавливаясь против Чапова и осмотрев его с ног до головы.

— Мы не требуем,— вмешался я,— чтобы вы были слугой, но вы должны дать нам самое необходимое, чтобы мы не подохли здесь с голода. Вы нас держите как скотину.

— Я прошу разговаривать со мной иным тоном, — оборачиваясь ко мне, зло заявил комендант. — Будете работать, получите все, а пока будьте довольны и этим.

— Но ведь это подлое издевательство! — вне себя воскликнул Сергей.

— Я поступаю так, как мне заблагорассудится. Я выполняю распоряжение своего правительства. Я приказываю оставить мою квартиру!

Чапов и я молча повернулись. Тяжело дыша, я вышел на улицу. Серый туман из низовья долины медленно полз по косогорью, застилая бараки лагеря Никцевиль.

Медленно нависали сумерки над лагерем. В бараках было уже темно, кой-где поблескивали мутные огоньки. Тишина, словно в лагере нет ни одного живого существа. Только из-за проволочного заграждения доносились мерные шаги постовых да мелодичный напев французской песенки.

В полумрачном бараке скрипели проволочные сетки. Люди, одетые в шинели, молча лежали на нарах. В углу мерцал желтый огонек. Вокруг него собралось несколько человек с мрачными, обросшими бородой лицами.

Огарок восковой свечи мутно освещал угол черного барака. По толевой крыше барабанил дождь. В щели стен со свистом врывался ветер и колыхал огонек горевшей свечки.

Облокотившись левой рукой на грязный дощатый столик, сидел Костров Паша. Напротив него в углу — Денисов, рядом с ним Горячев, член лагерного комитета. Сергей Чапов, прислонившись спиной к стойке нар, низко склонил голову. Кругом, на верхних и нижних нарах, сидели молчаливые люди. Здесь были представители ото всех бараков. Лагерный комитет собрался, чтобы разрешить вопрос — бороться или сдаться.

Чапов выпрямился и сказал:

— Были мы у коменданта, думали добьемся, что он улучшит нашу жизнь. Напрасно мы убеждали его, что живем хуже скотины. Он заявил: «Идите работать, будете жить лучше».

— Так... — после некоторой паузы сказал Денисов, — комендант говорит — работайте, тогда будете жить?..

На смуглом лице Денисова по-особенному заблестели глаза. Оглядевши всех, кто здесь был, он заявил:

— Мне кажется, можно начинать. Все уже в сборе.

Чапов сел на край койки, развернул клочок бумаги. Горячев придвинул огарок свечи на край стола. Чапов стал говорить:

— Товарищи, у нас на повестке дня два вопроса. Первый — о продовольствии и второй — о прибытии офицеров.

Проволочные сетки нар заскрипели. Из темноты вылезали чумазые люди. Каждый старался пробраться вперед и лучше расслышать, что говорил Чапов.

— Так вот, — продолжал он, — мы только что получили письмо от коменданта о том, что в наш лагерь приезжают русские офицеры. Они будут опрашивать каждого из нас, кто куда желает. Мы должны подготовиться к этой встрече. Об этом и будем говорить сегодня.

— Говорить тут много нечего! — воскликнул Назаров. — Закроем бараки и все. Их не пустим и сами не выйдем.

— Так-то уж больно легко. Нет, парень, ты не горячись, — возразил Денисов, — надо этот вопрос решить как следует. Как ты думаешь, Чапов?..

Чапов оглянулся и начал вполголоса:

— Среди нас живут шпионы и предатели. Все, что мы

делаем, что говорим и постановляем, — коменданту известно. Поэтому нам придется вести борьбу не только с лагерным начальством и русскими офицерами, но и со своими предателями. Сегодня утром мы встретили Шаргунова, шел от коменданта. Не даром ходил!..

— Выгнать Шаргунова из лагеря! — опять крикнул Назаров.

— И это не так-то легко, — перебил Чапов, — для этого надо, чтобы все пленные были заодно. Только общими силами сможем выгнать шпионов и предателей. Нам нужно сейчас всем членам лагерного комитета разойтись по баракам и правильно разъяснить всем в лагере, с какой целью приедут офицеры. Надо рассказать, что нас снова хотят использовать как пушечное мясо. Ну, а по части продовольствия, — предъявим коменданту ультиматум и, если положение не улучшится, объявим голодовку. Дальше, — спокойно продолжал Чапов, — необходимо связаться с лагерем Суэм. Там помещается три тысячи человек и, кроме того, там член Верденского лагерного комитета, товарищ Иванов. Мы должны вести борьбу сообща. Наша цель — не работать, не итти в легионы, а требовать только, чтобы нас отправили в Советскую Россию.

Чапов перевел дыхание. Он страдал одышкой и не мог долго говорить.

— Для этого надо кого-нибудь послать от нас... — заявил Денисов.

— Безусловно надо, — продолжал Чапов, — и более надежных товарищей. По этому поводу я уже говорил, когда мы возвращались от коменданта. — Чапов показал на меня. — Он согласен. Но одного мало, с ним пойдет еще Костров.

Паша поднял голову, посмотрел на Чапова, потом на меня.

На его взгляд я ответил словами:

— Думаю, Паша не откажется?..

— Я согласен! — ответил Паша и добавил: — Надо назначить время побега...

— А это ваше дело. Сами ищите время и случай... — сказал Чапов.

Долго еще мы обсуждали волновавшие всех нас вопросы. Составили план работы, приняли все предложения Чапова и уже поздно ночью разошлись.

С раннего утра по всем баракам началось оживление. Ждали «гостей». Хоть доброго от них ждать было нечего,

однако у всех, помимо воли, рождалось желание увидеть офицеров лишь бы для того, чтобы поругаться с ними.

Когда я проснулся, Чапова на нарах уже не было, а Костров Паша лежал на спине и курил цыгарку из разрезанной сигары. Двери барака открылись, вошел встревоженный Чапов.

— Приехали! — объявил он.

Несмотря на непролазную грязь в бараке, мы все же слезли с нар и вышли за дверь. Паша быстро встал, надел шинель и тоже вышел. В бараке остались только больные.

За проволочным заграждением, во дворе комендантского домика, стояли легковые машины. В лагерь через проходную калитку прошел взвод французских солдат. Нам приказали зайти в бараки, у дверей поставили посты. Группа офицеров (три русских и один французский) вместе с комендантом лагеря проходили от одного барака к другому. У входа в барак они останавливались. Им подносили небольшой стол и стулья. Офицеры, открывая дверь барака, поодиночке выпускали русских и опрашивали.

Вот уже прошел двадцатый человек. Впереди меня Костров Паша, я — за ним.

Когда я подошел к столу, капитан встал, положил руку мне на плечо, посмотрел в глаза и спросил:

— Зачем вы голодаете, живете в такой грязи, мучаете себя, когда впереди у вас, молодой человек, вся жизнь? Счастливая и свободная! Эту жизнь вы можете получить. Она сама вас зовет и манит, а вы не хотите. Скажите, молодой человек, что вас удерживает от того, чтобы получить счастье? Вот этот клочок бумаги может решить вашу судьбу. Запишитесь в легион или на работу, куда желаете...

Прапорщик придвинул чистый лист бумаги ближе ко мне, подал карандаш. Но я не двинулся с места. Спокойно выслушав капитана, ответил:

— Нет, я никуда не записываюсь: ни в легион, ни на работу... А кто нас держит в лагере, как не вы? Вы заставляете нас голодать!

— Мы?.. Нет, вы ошибаетесь, молодой человек. Мы приехали вырвать вас из этого несчастья.

— Вырвать? — удивился я. — Вырвать из пекла, чтобы послать на защиту Деникина!

— Значит, не желаете? — спросил капитан уже другим тоном.

— Не желаю!

— Тогда скажите, молодой человек, кто вас сбивает с пути, кто мутит весь лагерь?

— Не видел и не знаю.

— Ты — врешь! — закричал русский офицер.

— Спросите другого, если я вру.

— Уходи! — уже сдавленным от гнева голосом прошипел он.

— Ну как, исповедался? — со смехом встретил меня Паша Костров в другом конце барака.

— Сволочи! — ругался Денисов. — Ишь что придумали — в одиночку взять!..

Вся эта процедура длилась до позднего вечера. Лагерь был крайне возбужден. Только тринадцать человек согласились итти на работы. Они уехали из лагеря вместе с офицерами.

Свинцовые тучи низко мчались на север. Серым туманом затягивало долины. В мутном рассвете январского утра вырисовывались черные силуэты бараков лагеря Никцевиль. Четыре ряда ощетинившейся проволоки опоясывали его со всех сторон.

После отъезда офицеров лагерь охраняли сенегальские стрелки. Истомленные и измученные скитаниями по чужбине, голодные русские нерадостно встречали новый день, который сулил много новых бед и несчастий.

В десять часов утра французский сержант вручил председателю комитета бумажку, в которой комендант требовал выделить сто человек для отправки, якобы, в другой лагерь. У калитки уже стоял наряд конвоиров, выстроившись в походном порядке, ждал пленных.

Известие о выделении ста человек облетело все бараки. Привычные уже ко всем испытаниям, мы встретили его равнодушно. Однако лагерный комитет был встревожен. Все члены комитета разошлись по баракам, убеждали всех пленных не выходить без разрешения лагерного комитета.

Я направился в шестой барак. Там сильно спорили. В этом бараке помещались все шаргуновцы.

— Надо выделить сто человек! — кричал Шаргунов. — Пусть едет, кто желает.

— Нет, не дадим ни одного! — возразил Соколов Леня, который был в одной команде с Шаргуновым еще в Германии. — Если им нужно, пусть забирают всех из этого грязного болота.

— Куда он вас всех заберет, на шею что ли? — наступал Шаргунов.

— А зачем ему сто человек? Он так нас разобьет всех по сотне, тогда ему легко заставить нас работать. Твое дело уж знаем... Мутишь людей! — вспыхнул Соколов.

— Кто, я-то?..

— Да, ты-то, знаем, что за птица.

— А ты, дурак, заткни глотку!

— Сам заткни, ато мы тебе заткнем.

Здоровый, с широкой грудью Соколов шагнул вперед к Шаргунову. Сжимая кулаки, он вытянулся во весь рост и готов был броситься на Шаргунова. Без драки бы не обошлось, но в это время распахнулись двери и вошли солдаты. Они были вооружены карабинами.

Я вернулся в свой барак.

Костров Паша возбужденно закричал:

— Закройте двери! Не пускайте солдат! Не дадим ни одного человека.

Дядя Ваня, никогда не слезавший со второго этажа нар, вдруг начал строить вокруг себя баррикаду, — он все свои вещи свалил в кучу и ждал наступления. Глядя на него, стали делать «баррикады» для самозащиты и другие.

Несмотря на настойчивое требование коменданта и солдат, к двенадцати часам дня из бараков не вышел ни один человек. К двум часам дня к лагерю прибыла кавалерия сенегальских стрелков. Африканцы оцепили лагерь. Под командой белого офицера они ворвались в бараки. Они хватали пленных за ноги и стаскивали на пол, — в грязное болото. Волоком по земле тащили к дверям и выбрасывали на улицу. Между черными войсками и русскими началась ожесточенная схватка. Не выдержав натиска сенегальцев, мы отступали вдоль нар в другой конец барака. Крик, шум и гам — все сливалось вместе.

Костров командовал:

— Товарищи, ломай нары! Строй баррикады! Все равно не сдадимся.

Мы послушали Кострова. Нары треснули, покачнулись и рухнули посреди барака.

Но вот один сенегалец поймал чью-то бороду. Старик неистово вскрикнул от боли. Сенегалец стащил его с нар и толкнул в грязь. Другого русского схватили два сенегальца за ноги, но этот уцепился за проволочную сетку и не сдавался. Сапоги сдернули у него с ног. Подбежавший офицер ударил ручкой нагана по пальцам его руки. Бед-

няга больше не вытерпел, оборвался и упал в грязь под ноги сенегальцев. Его подхватили и выбросили на улицу. Другой сенегалец подскочил к Горячеву, схватил его за воротник рубашки. Горячев вскочил, выпрямился, наливаясь кровью и багровея от стянутого ворота, напряг все силы, чтобы вырваться. К нему поспешил еще второй сенегалец, но в последний момент к Горячеву подскочил Костров Паша. Он быстрым прыжком, ловко ударив по рукам сенегальца, освободил Горячева. Чернокожий страшно скривил губы, вскинул винтовку вверх. Приклад винтовки блеснул в воздухе, с силой ударился о стойку нар. Паша во-время успел ускользнуть из-под удара. Я схватил чей-то ранец и бросил под ноги сенегальцу, гнавшемуся за Пашей. Сенегалец упал. Паша и я вскочили на сломанные нары.

Пока сенегальцы расправлялись с малосильными в одном конце барака, в другом строилась крепкая и надежная баррикада. Разгоряченные люди ничего не жалели, все сваливали в одну кучу.

Стрелять сенегальцы не получили разрешения, а было приказано брать пленных силой. Однако руками нас взять оказалось почти невозможно. Мы крепко забаррикадировались в углу барака.

Уже стемнелось. Раздалась команда офицера «строиться». Сенегальцы вышли из бараков, уведя все-таки с собой девяносто двух человек.

Еще небывалая за все время плена организованная борьба произошла так неожиданно, так быстро, что все мы удивились своему геройству. Но мы боролись не против сенегальских солдат, а против тех, кто ими руководил — французских офицеров, которые хотели силой заставить нас выйти на работы.

XV

Сквозь сон слышу — кто-то толкает меня в бок. Открыл глаза — в густой темноте ничего не видно.

— Вставай... — прошептал надо мной тихий голос Кострова.

Я вскочил. В эту ночь мы должны совершить побег. Днем Паша и я ходили по лагерю, высматривая удобное место, где лучше можно пролезть через четыре ряда проволочных заграждений.

— Одевайся... пора... — повторил Паша.

Не зажигая огня, мы оделись и слезли с нар. Я разбудил Чапова, Костров — Денисова. Простились, пожали друг другу руки.

Из барака вышли тихо, затаив дыхание, пробирались вперед ощупью.

Ночь была темная, долина у подножья лагеря зияла черной пропастью, затопленной морем темноты. Изредка сквозь разорванные облака мелькали звездочки и вновь исчезали. Мы шли молча, осторожно ступая по жидкой грязи. До проволочного заграждения нам надо было пройти еще метров сто. Отлогая площадка лагеря затрудняла наше продвижение. Ноги то-и-дело скользили. Вблизи заграждения ногами нащупали лужайку, опустились на нее, ползком стали приближаться к проволочному заграждению. Паша полз впереди, я за ним. Через каждую минуту останавливались, прислушивались к шагам постового, собирали все усилия овладеть собой, сохранить спокойствие.

Вот и проволочное заграждение, его пересекает канава, по которой мы должны пролезть. Она была в аршин глубины, начиналась в лагере и кончалась по ту сторону четырех рядов колючей проволоки. К частью, она была сухая. Паша на минуту застыл на месте, скатился в нее и, не теряя напрасно времени, полез на животе. Следуя за Пашей, я слышал сильное биение своего сердца, его стук отдавался, словно шаги часового.

Паша уже сравнялся со вторым рядом проволоки, а надо мной еще был первый ряд. Под третьим рядом на пути встретились колья, вколоченные в землю. Их надо было осторожно вынуть и поставить обратно, чтобы утром не навести на подозрение часовых. Благодаря мягкой земле Паша без особых трудностей вынул их и поставил сбоку канавы. Три кола Паша уже вытащил, остался еще один. Вдруг я вздрогнул, Паша подался назад и замер на месте, плотно прильнув к земле. Совсем близко послышались шаги. Брякнула проволока. Где-то далеко в пустоте ночи грохнул ружейный выстрел. Шли минуты, а они казались мучительными часами. Мы находились в таком положении, что ни вперед, ни назад... Канава вела под откос, мы лежали, затаив дыхание, вниз головой, и вернуться назад из такого положения не представлялось никакой возможности.

Вот Паша осторожно приподнял голову, я оглянулся. Шаги часового стихали. Паша толкнул меня ногой, мы полезли дальше.

Поравнявшись с третьим рядом проволоки, я поставил на прежнее место все четыре кола. Паша за это время уже вылез за четвертый ряд проволоки и исчез из вида. Угрожала опасность мне потерять Пашу в этой непроницаемой тьме ночи.

«Надо во что бы то ни стало догнать его», подумал я, двигаясь на животе.

Хлястик шинели зацепился за проволоку четвертого ряда. Рвануть никак нельзя, проволока может зазвенеть, а это привлечет внимание часового.

С правой стороны послышались шаги. Страх охватил все тело, от волнения захватывало дыхание, сердце так сильно билось, что казалось вот-вот вырвется из груди. Но вот шаги часового стали удаляться. С трудом мне удалось отцепить хлястик и я полез дальше. Паша, спустившись в небольшую лощину, ожидал меня. Его я заметил тогда, когда подлез совсем вплотную. Не произнося ни звука, мы осторожно прошли сквозь колючий шиповник и скатились под откос на шоссейную дорогу.

— Ну, кажется, благополучно, — прошептал Паша, вытирая рукавом шинели лицо, — первую опасность миновали.

Сквозь дождливые тучи пробивались звезды. На восточной кромке горизонта блеснула бледная полоска утренней зари и скрылась за тучами.

Мы оглянулись: вверху, словно под самым небом, вырисовывались черные силуэты бараков. Виднелись столбы проволочного заграждения.

Воздух был до того влажный, что становилось нестерпимо холодно. По телу пробегал озноб. С минуту мы стояли, не двигаясь с места. Ориентироваться в темноте и совершенно незнакомой местности было трудно. Знали только, что Верден находится от лагеря на север, а загорающаяся заря обозначала восток. Паша повернулся на юг.

— Пошли, теперь каждая минута нам дорога, — шепнул мне Паша, трогаясь с места.

Гладенькая дорога чуть заметно белелась. С боков ее тянулся колючий шиповник. Кругом ни звука. Мы долго шли молча, стараясь как можно легче ступать по грунтованному шоссе. При малейшей неосторожности подметки французских ботинок, окованных железными гвоздями, звонко стучали. Тогда мы останавливались, прислушивались и вновь продолжали наш путь.

Первым заговорил я.

— Какая пустота, а ведь недавно, полгода тому назад, в этом районе ревели пушки. Весь мир следил за боевыми действиями под Верденом. Здесь дрались французские, английские, русские и, наконец, американские войска с немцами. Тысячи расстрелянных, разбросанных в полях и ухабах. Земля упитана кровью. А для чего?.. Кому нужно?..

— Нам не нужно, — ответил Паша, — а им нужно. Им, капиталистам, тесно жить, да и нашего брата расплодилось много. Вот и убавили... Эх, — после некоторой паузы снова заговорил Паша, — сейчас бы я, кажется, поднялся на крыльях и перемахнул в свою родину, нашу советскую родину. Несмотря на все свои невзгоды и утраченное здоровье, я пошел бы в ряды Красной армии и за все отомстил бы. О-о-х, отомстил бы!

Последние слова Паша произнес сквозь зубы сдавленным от гнева голосом.

— Скоро отправят нас в Советскую Россию, — ответил я.

— Или на тот свет, — добавил Паша.

— Правда, последнее для них легче. Невыгодно нас даром кормить и жаль отправлять в Советскую Россию, они знают, что мы с охотой пойдем в Красную армию и будем их бить. Но ведь и нет закона морить голодом, издеваться так над невинным человеком, как над собакой.

Тем временем загоралось утро. Наступал день. Мы шли по незнакомой дороге в неизвестном направлении. Наша цель побега — найти лагерь Суэм или в крайнем случае какой-нибудь другой, с русскими. Узнать их положение, поделиться своим бытом, совместно требовать отправки в Россию. Постановление лагерного комитета мы решили выполнить.

Шли часы. К полдню рассеялись тучи. Засветилось мартовское солнце и заиграло на повядших кустах калинника. Каркая, стаями летали голодные вороны, ища добычи среди братских могил.

Прошли длинную и ровную долину, поднялись на гору. Позади нас далеко на горизонте в противоположной стороне долины вырисовывался наш лагерь, из которого мы ушли ночью.

Впереди нашего пути, прикурнув к подножью горы, виднелась маленькая деревушка, Осмотрев окрестность и не найдя ничего привлекательного, мы направились к деревушке.

Деревушка домов из пятнадцати, совершенно разрушенная снарядами, напоминала о жестоких боях в этом районе. Жителей не было. В разбитые окна виднелась обвалившаяся штукатурка и обрушившиеся потолки. Кой-где зияли закопченные пасти уцелевших каминов. Паша остановился.

— Здесь мы не найдем и заплесневелой корки хлеба, — сказал он. — Пойдем дальше...

Дорога из деревни вела между двух гор. Где-то недалеко прозвучал паровозный гудок. На перекрестке двух дорог стрелка на столбе показывала направление на город Бар-ле-Дюк. Пошли туда. Но не прошли и километра, как оба, словно чем-то ошеломленные, разом встали. Паша в недоумении взглянул на меня.

Неожиданно перед нами вырос лагерь. Он был с левой стороны дороги и так искусно замаскирован, что на далеком расстоянии его трудно заметить. Во Франции, в большинстве случаев, лагеря построены под прикрытием. Так и тут: слева, углом с севера на запад, возвышалась гора. На восток от подножья горы тянулся лес и лишь только с южной стороны поле, усеянное мелким кустарником. Сверху не сразу можно заметить лагерь, так как крыши бараков замаскированы под цвет зелени и на далеком расстоянии сливались в один цвет с кустарником. Отсутствие проволочного заграждения говорило о том, что в лагере живут нерусские. Ворота были открыты. Между бараков виднелись солдаты, подводы и машины.

— Войска? — с тревогой сказал я. — Нам надо уходить. — И я уже хотел вернуться, но Паша остановил.

— Постой! Это не французы. Мне кажется — сенегальцы.

— Тем хуже. Мы с ними недавно знакомились в своих бараках.

— В бараках одно дело, а здесь другое... Пойдем в лагерь...

— Паша, ты с ума сошел?.. Нас арестуют...

— За что они нас арестуют? Идем!..

Я долго уговаривал Пашу не заходить в лагерь, поискать продуктов для себя где-нибудь в другом месте у вольных французских крестьян. Однако убедился, что его упрямство не сломить, а тем временем нас уже заметили из лагеря. Два солдата, отделившись от группы, шли по направлению к нам. Волей-неволей я последовал за Пашей.

Черные сенегальские стрелки, сыны знойной Африки,

недавно так жестоко расправлявшиеся с нами в бараках, сейчас совершенно иначе встретили нас.

Как только вошли в лагерь, нас встретили двое, те, что шли навстречу.

— Здравствуйте, товарищи! — поздоровался Паша по-французски.

Они ответили по-своему.

Когда мы подошли вплотную к солдатам, то узнали, что это не сенегальцы, а американские негры. Африканская форма солдат немного желтее и каски у них глубже. Негры были в защитных, травяного цвета, мундирах и в широких стальных касках.

— Камрад, дайте хлеба! — обратился Паша к первому из них.

Солдат не понял его, сверкнул зубами, кивнул товарищу.

Паша повторил по-немецки.

— Товарищи, дайте хлеба!

Негры тем временем обступили нас кольцом, кругом блестели белые зубы и черные лица. Они, показывая на нас, кричали что-то непонятное.

Вероятно они не могли узнать, кто мы, да и узнать-то было трудно: шинель на мне русская, мундир американский, шаровары и ботинки с обмотками французские. У Паши шинель и шаровары русские, мундир тоже американский. Фуражки у обоих были русские.

Не зная их языка, я решил сказать по-французски:

— Мы — русские...

— Русь!.. Русь!.. — закричали негры, обступая нас со всех сторон.

Костров показал на живот. Дескать, мы есть хотим.

Один из них, высокий с широким лицом, схватил Пашу за руку и потащил. Двое подбежали ко мне и тоже потянули за Пашей. Сначала я испугался, думал, сейчас нас бросят в каземат. Но вскоре мои опасения исчезли. Мы очутились в столовой за одним столом с Пашей. Не прошло и пяти минут, как на столе появились суп, рисовая каша, галеты и белый хлеб.

Проголодавшись за время дороги, мы опоражнивали тарелку за тарелкой, ели со звериным аппетитом вкусный обед. Пили квас, закусывали пряниками и галетами.

Паша ослабил ремень, подтянутый им еще в дороге. Дышать становилось тяжело, а усердные негры подносили хлеба, меду, папирос и махорки.

— Ешь, русский, ешь!..— по-французски кричал услужливый широкоплечий негр.

— Мерси, товарищи, мерси, — отвечали мы разом.

— Ух, не могу, кажется, еще за всю жизнь так не наедался. Сейчас лопну, — говорил Паша, закуривая сигаретку.

Тот же высокий и широколицый негр с блестящим, словно отполированным, черным лицом и как снег белыми зубами весь остаток продуктов уложил в мешочек и подал Паше.

Мне насовали полные карманы галет, табаку и папирос.

— Русь хороший товарищ! Русь бум-бум... — сказал широколицый, представляя из себя пузатого буржуя.

Он этим объяснял, что русские — хорошие товарищи, бьют толстых буржуев.

Все смеялись, кричали каждый по-своему, одевали наши фуражки, нам давали свои. Вдруг все стихли. У дверей раздался громкий голос команды, негры вытянулись и замерли. В столовую вошел белый офицер с двумя солдатами военной полиции.

— Кто вы? — спросил нас по-французски офицер.

— Мы — русские, — ответил Паша.

— Арестовать! — бросил офицер и обернулся к солдатам, вытянувшимся в струнку.

Двое солдат, сопровождавших офицера, подскочили к нам и повели.

— До свиданья, товарищи, до свиданья! — на ходу крикнул Паша.

Молча, плотно стиснув зубы, стояли черные солдаты, провожая нас дружескими взглядами. Два солдата военной полиции вывели нас из лагеря и повели по направлению к городу Бар-ле-Дюк.

У меня зарождалась мысль бежать, но, оглянувшись кругом, пришлось отдумать. Справа крутым обрывом возвышалась каменная стена горы. Слева — чистое поле, и лишь на расстоянии полкилометра темнел кустарник.

Паша шел, заложив правую руку в карман, набитый галетами. Под левой мышкой у него был узелок с хлебом. Сзади, тихо разговаривая, следовали солдаты.

— Продуктами теперь мы, Паша, обеспечены по крайней мере на два-три дня. Если бы удалось убежать!..

Паша оглянулся и ответил:

— Подстрелят.

— У них револьверы-то в кобурах. Если бы лес близко, можно тягу дать.

— Обернуться, да в морду их... Пожалуй, не справимся, здоровые черти... — Паша засмеялся.

Лепетавшие по-своему солдаты замолчали, насторожились.

— Не понимают ли они по-русски? — сказал Паша и, обернувшись, спросил:

— Товарищи, итти далеко еще?..

Солдаты грубо крикнули, показав рукой на дорогу.

— Ну, с этими не сговоришься. Злые, несмотря что белые.

— Из военной полиции. Видишь, черные нашивки на рукавах. Это те же полицейские, только в солдатских шинелях.

Вскоре дорога круто повернула вправо. Впереди виднелась деревушка. Солдаты подвели нас к одному из домиков, открыли дверь и велели зайти. Как только мы зашли, дверь захлопнулась, щелкнул с улицы запор. Мы оказались в маленькой каморке с одним небольшим окном. В углу стоял топчан, на нем куча пыльной соломы. На полу валялись грязные тряпки, немецкая шинель с оторванным рукавом и французская каска. Квадратное оконце запутано колючей проволокой. Я подошел к нему, посмотрел на улицу.

Против окна расстилалась небольшая площадь, в конце ее стоял древний с обвалившейся штукатуркой костел, за оградой виднелись памятники с крестами.

Мимо окна проходили солдаты, офицеры и изредка вольные граждане. Чтобы рассмотреть, что делается влево и вправо, — я вытянулся на носках, прильнув к стеклу, но так как боковые стены слишком толсты, из-за них ничего не было видно. Вдруг к окну подошел солдат с винтовкой на плече, он повернулся и широкой спиной загородил окно. Это был часовой, охраняющий нас.

Вот уже третьи сутки, как мы сидим в каземате полуразрушенного домика неизвестной деревушки. Под окном стоит солдат негр. Он украдкой в открытую форточку иногда протягивает руку и подает кусок хлеба или сигаретку. Паша пытается с ним объясниться, но негр отворачивается. Мимо окна шныряют офицеры и, повидимому, он боится говорить с нами.

На четвертые сутки с шумом подкатил автомобиль и

остановился под окном. Нас вывели, посадили в него и повезли. Через некоторое время машина остановилась в большом американском кавалерийском лагере, расположенном под прикрытием с одной стороны леса, а с другой стороны — высокой горы.

Пашу и меня поместили в бараке вместе с белыми американцами. Дежурному по бараку было приказано стеречь нас. После сытного обеда пришел часовой и нас повели на кухню резать дрова.

Вечером американцы затеяли игры. В углу играл патефон. Начался бой в бокс. Веселые ребята не дали скучать и нам. Они надели мягкие перчатки на руки Паши и мои и велели бить друг друга.

Я видел бой в бокс, но ни разу не приходилось драться, — поэтому мы бились с Пашей как попало, по-русски. Американцы смеялись, поджимая животы. От ударов мы падали поочередно. Вставали и снова бились.

Паша всякими способами пытался завести разговор о войне. Сначала это долго не удавалось, но вот один из солдат спросил:

— Русь большевик?

— Мы — пленные, — ответил Паша.

— Коммунист? — повторил американец.

— Беспартийные...

Солдат, оглянувшись по сторонам, продолжал смелее начатый разговор.

— Русь революшин?

— Да, да... — быстро ответил Паша. — Капиталистам конец!

Он изобразил у себя огромный живот и затем ребром ладони ударил себя по шее.

Американец улыбнулся, вынул сигаретки, закурил и угостил нас.

Разговор продолжался бы и дальше, но в этот момент вошел в барак дежурный офицер. Мы разошлись и сели на свои койки.

На следующее утро нас вызвали в комендатуру. Пришел переводчик. Комендант спросил:

— Из какого вы лагеря?

— Никцевиль, — ответил Костров.

Комендант посмотрел на карту и проговорил:

— Никцевиль... Двадцать километров на север. — Он выдержал паузу и снова спросил: — Почему ушли?

— Плохо жить, — спокойно ответил Паша.

— Шпионы?
— Нет, так — гулящие.
— Большевики?
— Нет, пленные.
Комендант не выдержал и вскипел:
— Я вас с конвоем отправлю!
— Как угодно, мы привычные, — также спокойно продолжал Паша, — можете и конвоем!
— Гарри! — крикнул комендант.
В комнату вбежал солдат. Комендант приказал вывести нас и посадить до распоряжения. А вскоре к нам явились два вооруженных солдата. Вывели из каземата, а подошедший переводчик сказал, что эти солдаты отведут нас обратно в лагерь Никцевиль.
Окаймленная деревьями, прямая как стрела расстилалась перед нами шоссейная дорога. Позади оставался большой американский лагерь с почерневшими бараками. Справа по опушке леса паслись табуны лошадей.
Солдаты нас не подгоняли, шли медленно по ровному шоссе. Они разговаривали между собой, лениво шагая за нами. Паша нервничал, ему страшно хотелось поговорить с американцами, но не знал их языка. И все же при помощи жестикуляции, понимая несколько слов по-французски и по-немецки, мы о многом объяснились.
Конвоиры оказались хорошими ребятами. Всю дорогу мы разговаривали о войне, о революции в России, которая всколыхнула весь мир — Германию, Венгрию... Угощали нас сигаретками, давали жевательный табак.
Вечером остановились в деревушке. Ночевали у крестьянина. Впереди еще десятикилометровый путь. Но утром не прошли и пяти километров, как американцы нас остановили.
— Русь, идете, — сказал один из них по-французски.
— Прощайте! — повторил другой и подал руку.
Мы не верили, что, не доведя до лагеря, американцы отпускают нас. У меня блеснула мысль: не думают ли они подстрелить нас «при попытке к бегству»?.. Но когда я взглянул на их веселые улыбающиеся лица, — мои подозрения исчезли. Дружески попрощавшись с нами, они снабдили нас на дорогу табаком и пошли обратно.
Поздно ночью, тем же путем, вернулись мы в свой лагерь и узнали об исчезновении Чапова. Паша ни за что не верил, не верил и я, что Сергей убежал.
— Тут дело шаргуновцев... — сказал Паша.

— И я цьему ни вирю, Павло, — с грустью проговорил дядя Ваня, — тут дило ни чисто. Ей-бо щось кроится. Не може быти цьего. Чоловик боровся за тэ, щоб нам усим гарно було и вдруг тикаты. Ни, ты правду кажешь, що дило наших ворогив.

— Где Шаргунов? — спросил Паша.

— Вин живе спокийно в шистому бараки. Хлопцы кажут, що Шаргунов перед тим, як вызвали Сережу, був у коменданта.

— Я так и знал! — воскликнул Паша. — Вторая жертва его рук. А завтра будет третья... А вы, товарищи, где были? — Паша набросился на Горячева и Денисова. — Зачем отдали?..

— Кто знал, что так получится, — оправдывался Горячев. — Чапов ходил к коменданту, требовал от него исправления насоса. На другой день комендант прислал записку, потребовал двух человек. В записке не говорилось, чтобы шел Чапов. Там сказано: выслать двух человек, одного из них слесаря. Чапов сам согласился. Взял Назарова и пошел.

— Так, значит, он с Назаровым?..

— Да, с моим мальчиком, — сказал дядя Ваня, — гарный хлопец, ще завсем молодый. Дурно загине.

— А перед этим, дня за два, бесследно пропал из шестого барака Соколов, — заявил Денисов, — также был вызван по записке.

— Леня? — спросил я.

— Леонтий Соколов. Будто бы Шаргунов сказал ему: ты монтер, иди к коменданту, исправишь динамо, дадут свет для лагеря. Соколов с радостью согласился, ведь он член лагерного комитета. А вечером сержант заявил, что Соколов убежал.

Я вспомнил момент, когда Соколов ругался с Шаргуновым, когда он готов был избить его, но вошедшие в барак солдаты помешали ему. Соколов ненавидел Шаргунова. Находясь в одном бараке, постоянно спорил с ним; и он стал жертвой подлого предательства.

— Дальше этого терпеть нельзя, — сказал я, дрожа от волнения.

Паша встал, заломив пальцы, прошел два шага вперед и быстро остановился против Денисова.

— Теперь твоя очередь. Иди в Верден и узнай, где Чапов.

Денисов на минуту опустил черные глаза.

— А если попадусь?
— Когда мы уходили из лагеря, об этом не думали, — ответил Паша.
— Ладно. Завтра ночью пойду.
Еще с первых дней пребывания во Франции мы категорически отказались производить нам поверку ежедневно. В Вердене, по приказанию генерала, комендант выдавал на каждого из нас бумагу и каждый из нас должен был написать свою фамилию, имя, отчество, указать губернию, уезд и деревню. При этом комендант заявлял, что нас будут отправлять в Россию по губерниям. Но списков мы не дали, а бумагу искурили. Поэтому у французов наших фамильных списков не было. Считали нас только тогда, когда группу в тысячу-две отправляли в другой лагерь. Так и в лагере Никцевиль нас поселили тысячу двести человек, на это количество ежедневно и выдавался провиант. Старшие каждого барака знали счет своим людям и требовали на них по количеству все, что нужно. Если кто убегал без ведома старшего барака или лагерного комитета, на него получался паек в течение шести-семи дней. А потом уже заявляли об его исчезновении. О нашем побеге с Пашей комендант не знал, и он прошел безнаказанно.
На второй день вечером Денисов стал собираться в путь. Спать он не ложился, чувствовал себя вполне здоровым и спокойным. Лежа на нарах, Паша и я наказывали ему, как лучше выйти из лагеря. Советовали не заходить в лагеря, где находятся воинские части.
Денисов молча слушал наши наставления. Дело, которое ему поручал лагерный комитет, было нелегкое. Надо узнать, где Чапов, Назаров и Соколов. Если они сидят в крепости — мы этим разоблачим гнусный поступок комендатуры, которая всевозможным образом вылавливала наших руководителей с тем, чтобы ослабить организацию лагерей.
На Денисова мы надеялись. Это был человек крепких нервов, безгранично смелый, с горячим сердцем, в то же время веселый, с постоянно улыбающимся лицом, как смоль черными глазами. Денисов Митя был из рода цыган. Он как-то мне рассказывал, что его родовая фамилия «Денис», что его отец еще в молодости приписал «ов» и с тех пор он пишется Денисов.
Родился Митя в Бессарабии. Отец долгое время содержал кузницу на окраине города Кишинева. Он, молодой Митя, помогал работать отцу, научился гнуть подковы, де-

лать крюки и петли к дверям. В 1915 году ему исполнилось двадцать лет, и царское правительство призвало его в армию. Вскоре после трехмесячной учебы его отправили на западный фронт.

Война, тяжелый плен и новые мытарства во Франции перерождали Денисова, закаляли его силу для новой борьбы. Если он еще год-два тому назад не мог представить в своем уме, «для чего война, кому она нужна», то он сейчас смело говорил: «капиталистам нужна война для наживы, для большего порабощения уже порабощенных масс». Хотя, будучи оторванными от окружающего нас мира, политику борьбы мы не совсем ясно понимали. Во многом мы были еще наивными.

— Пора... Прощайте! — неожиданно перебил мои мысли Денисов.

— Возьми хлеб, пригодится, — сказал я, пожимая широкую ладонь Мити.

Денисов спустился с верхних нар на землю и исчез в темноте. Тихо стукнула дверь. Вновь тишина.

Прошло три недели с тех пор, как ушел Денисов из лагеря. Я сильно беспокоился за его жизнь. Вспоминали о нем и ожидали каждую ночь его возвращения. Бывало, проснусь, подниму голову и рукой пощупаю то место, где спал Митя, но постоянно нащупывал только его ранец — и, разочарованный, опять засыпал.

Много изменилось в лагере за это время. Сменили коменданта, конвой, стали привозить воду и варить обеды, а третьего апреля, рано утром, вывели нас из лагеря, построили и отправили на станцию. Нас перегоняли в новый лагерь, Шанлю, куда вскоре прибыла и другая партия русских пленных, находившихся в лагере Суэм. К нашей общей радости с ней приехали Иванов и Денисов, который как «беглый» был, оказывается, направлен в Суэм.

Из пленных французы хотели сделать покорных и безобидных людей. Но русские солдаты не сдавались, заражая своей непокорностью и окружающее лагеря население. Пленные не мало доставили хлопот властям. Отправить нас домой — было опасно, знали, что мы вступим в ряды Красной армии. А не выпуская — власти терпели нас как больной зуб, который постоянно дает себя чувствовать. Поэтому и перегоняли нас часто из лагеря в лагерь.

Приехав в Шанлю, мы с большим трудом организовали

самодеятельный театр, кружки, даже школу. Устроили парикмахерские, баню. Привели себя в порядок после лагеря Никдевиль, где мы до неузнаваемости обросли волосом, покрылись потной грязью. По этому поводу, перед нашим приездом в Шанлю, была пущена среди французского населения о нас клевета. Буржуазные газеты писали о пленных как о башибузуках, почти превобытных людях, называя нас в то же время «большевиками» и «бандитами». В каких только видах нас не рисовали. Смешно было смотреть!

Но мы скоро доказали местному населению — кто мы. Быстро развеялась клевета. Мы завязали дружбу с крестьянами. В наш театр стали ходить не только взрослые, но и дети. Оказалось, что русские пленные не плохой народ.

А газеты продолжали обливать нас грязью. В одной из них под заголовком «В лагере Шанлю чума» — писалось: «Русские военнопленные стали хозяевами положения в Шанлю и его окрестностях. Большевистская чума распространяется и заражает здоровых граждан Франции. Большевики Шанлю разгуливают по деревням, сеют там большевистскую заразу. Ни военные власти, ни полиция в Шанлю никаких мер не принимают. Надо лечить заразу, — восклицает в заключение газета, — пока она не распространилась всюду».

Правда, вскоре после этого газета коммунистической партии фракции «Юманите» дала жестокий отпор буржуазной своре писак, но правительство уже приняло меры. По воскресеньям к лагерю стали высылать кавалерию. Патрули не пропускали крестьян в наш лагерь. Однако и это не помогло. Тогда через русскую белогвардейскую базу, находящуюся в Париже, было дано поручение офицерам организовать из пленных нашего лагеря боевую дивизию, ввести военную дисциплину, чтоб этим удержать русских в лагере от общения с населением. Через доктора Рубакина, русского эмигранта, нам удалось узнать о прибытии к нам офицеров, и они нас не застали врасплох.

Был теплый августовский день. Полуденное солнце палило землю. Из-за зеленых ветвей деревьев от французских бараков показалась группа людей. На них блестели погоны. Это были русские офицеры. В сопровождении коменданта и двух сержантов они медленно приближались к нашим баракам. Лагерный комитет заранее знал о цели прибытия офицеров к нам и был наготове. Люди спокойно

бродили по лагерю, с любопытством смотрели на приближающихся офицеров.

Иванов, заложив руки за спину, ходил взад и вперед по площадке. Глаза его горели. Лицо выражало беспокойство, видно было, что он волнуется. Он знал, что организация в лагере крепкая, большинство людей надежные, но также знал, что есть среди нас шпионы, подобно Шаргунову, которые могут встать на сторону офицеров. Он не допускал мысли, чтобы лагерь раскололся на две противоположные группы, но недоразумения были возможны. А всякая неприятность среди нас может повлиять и на отношение с нами французского населения. Поэтому Иванов и беспокоился, обдумывая план встречи с непрошенными господами.

— Здравствуйте, братцы! — поравнявшись с нами, сказал один из офицеров.

Общее молчание было ответом. Толпа любопытных кольцом окружила «господ офицеров». Блестя погонами, слегка постукивая шпорами, молодцевато стояли они. Полковник, уже немолодых лет, первый обратился к нам с речью.

— Братцы!.. — начал он мягким голосом: — Нас прислало к вам французское правительство и русская база защиты отечества, чтобы восстановить у вас в лагере порядок. Мы — офицеры, а вы — солдаты одной русской армии и христиане православной церкви должны жить вместе, дружно и мирно. Вместе защищать нашу родину от врагов, оскверняющих нашу церковь. Нам поручено, — продолжал он, — русской базой и французским правительством организовать здесь в лагере дивизию.

В толпе, окружающей плотным кольцом офицеров, послышались недовольные возгласы. Иванов до боли прикусил нижнюю губу. Он стоял против офицеров, будущих командиров дивизии, спокойно слушал, когда они кончат болтовню.

Иванов прямо смотрел в глаза говорившего полковника, и я заметил, что взгляд Иванова тревожил его. Полковник часто оглядывался по сторонам.

— Когда мы сформируем дивизию, — продолжал говорить он, — получим амуницию, оружие, — отправимся в нашу родную отчизну. Встанем в ряды великой и непобедимой русской армии...

— Какой армии?.. — спросил Иванов.

Полковник смутился, посмотрел на Иванова, который

попрежнему стоял внешне спокойный, но решительный, готовый в любую минуту на все.

— Я вас не понимаю... — ответил полковник Иванову, стараясь улыбнуться.

— Я спрашиваю: какой армии мы пополним ряды — вашей или нашей?

Полковник пожал плечами. Острота и смелость Иванова видно подействовали на него. Он волновался и не находил ответа.

— Я думаю, — наконец сказал полковник, — у нас, русских, есть одна армия — генерала Врангеля.

При этих словах мы не выдержали, среди пленных прошло волнение. Офицеры оглянулись. Полковник поднял руку и хотел что-то сказать еще, но резкий голос Иванова заставил его замолчать.

— Товарищи! — крикнул Иванов. — Господа офицеры приехали в наш лагерь наводить порядки. Предлагают нам встать в ряды армии Врангеля, которая не сегодня—завтра будет в Черном море!.. Порядок, — Иванов обернулся лицом к полковнику, — в нашем лагере и без вас хорош. А наша армия — это Красная армия рабочих и крестьян, армия Советской России.

Со всех сторон послышались одобрения. Сотни голосов поддержали сказанное Ивановым. Люди кричали:

— Правильно! Правильно говорит Иванов! Рвите погоны с офицеров! Чего на них смотреть-то?.. Бей их! Сволочи они!

Офицеры, побледнев, смотрели вокруг себя. А толпа кричала:

— Гоните их прочь из лагеря!

— Тью... тью...

Свист, улюлюканье, барабанный бой в консервные банки и котелки смертельно испугали офицеров. Они с трудом вырвались из плотного кольца пленных солдат, убежали в комендатуру и больше не показывались.

Казалось, мирно потекла жизнь лагеря Шанлю. Мы торжествовали победу. Играла музыка, крутились карусели, далеко разносились русские песни. Наш драмкружок в день, когда офицеры убежали из лагеря, назвал свой театр именем «Победа». На крыше театра мы повесили небольшой красный флажок.

Но французское правительство не оставило нас в покое:

лагерь Шанлю стал для него бельмом на глазу. И в первое же воскресение после прихода к нам офицеров в лагерь прибыла кавалерия. Она заняла все входы и выходы к лагерю. А двадцать пятого октября 1919 года, в пять часов вечера, мы получили приказ о выезде.

Несмотря на усиленный конвой и патруль, оцепивший весь лагерь, все же известие о выезде русских пленных облетело все местечки, и французское население хлынуло прощаться с нами.

Лагерь отправляли не весь сразу: в первой группе отправляли тысячу человек. В нее вошел целиком наш первый блок[1].

Целую ночь, не смыкая глаз, мы готовились в путь: разбирали декорации, упаковывали костюмы, парики. Все, что было сделано и приобретено нами, мы забирали с собой, ничего не хотели оставлять.

С необъяснимым волнением и тревогой я укладывал женские костюмы и свои наряды в немецкий ранец. Мои мысли, мои думы неслись в Битхизи. Передо мной вставал образ русоволосой Анжелли, с которой я сблизился за время пребывания в этом лагере.

Утро двадцать шестого октября началось так же, как и накануне. Запоздалое осеннее солнце освещало верхушки леса. В лесу и по дороге сновали верховые патрули. У французских бараков, выстроившись в две шеренги, стоял наготове взвод конвоиров. Сержанты построили нас вдоль шоссейной дороги и повели на станцию. Неохотно мы покидали лагерь Шанлю. Длинная колонна наша с узлами и мешками вытянулась по дороге. По этой дороге мы шли пять месяцев тому назад сюда, в лагерь Шанлю. Тогда от нас шарахались девушки, прятались дети. Теперь с обеих сторон сплошной вереницей эти же девушки и дети провожали нас на станцию.

Так быстро пролетело время — пять месяцев! Сколько нового произошло за эти месяцы. Теперь начинай снова...

Несмотря на усиленный конвой, вольное население — наши друзья — со всех концов стекалось на станцию. Вскоре весь перон и прилегающая к нему площадь были запружены толпой французов. Войско оказалось бессильным разогнать их. Они пришли проститься с нами — своими друзьями, русскими товарищами.

---

[1] Лагерь был разбит на три блока, каждый блок имел приблизительно по 50 бараков. В каждой такой группе бараков была своя кухня. Довольствие получали по блокам.

Посадка закончена. Вагоны тронулись и плавно пошли мимо перона. Сотни голов, от которых мы удалялись, оставались позади. Сотнями платочков махали нам наши друзья. Они прощались с нами. Потом послышалось громкое ура...

Мы запели революционную песню. Вот уже прошли последние вагоны мимо перона, а многолюдная толпа не покидала станцию. Далеко слышались «вив ле рюс!»

Взволнованный прощанием с Анжелли, я сел на свои вещи у открытых дверей вагона и с грустью смотрел на мелькающий калинник и удаляющуюся станцию.

— Тоскуешь? — вдруг я услышал голос Иванова. Он стоял возле меня, улыбаясь смотрел мне в лицо.

— Жаль расставаться с таким лагерем, — ответил я.

Иванов присел рядом со мной, положил левую руку на мое плечо, сказал:

— В этом лагере мы сделали великое дело. Французские крестьяне нас любили потому, что мы честно поступали с ними. Люди, враждебные нам, старались оклеветать, опакостить нас, но они оказались битыми. Правде не замажешь глаза, а мы жили правдой. Не тужи за Анжелли, ты еще молод, жизнь вся впереди... Когда-нибудь вырвемся отсюда!

Эти простые и понятные слова Иванова словно влили свежую струю в мою грудь. Я с облегчением вздохнул и на сердце стало легче.

Полным ходом мчался поезд к Парижу. Через час уже виднелись роскошные виллы, дома, предместья французской столицы. По всем направлениям словно змейки мчались ровные отшлифованные шинами шоссе. В Париже наш поезд не остановился. Обходным путем он обошел город и помчался дальше по Лионской дороге.

Через три дня после отъезда из лагеря Шанлю, на станции города Лангр, во время маневров, наш эшелон разбили на три части. Мы не успели оглянуться и принять какие-либо меры протеста, как поезд с малым остатком вагонов двинулся дальше. Он остановился на маленькой станции Плесноу. По команде офицера вышли мы из вагонов на площадь и построились. После поверки мы узнали, что нас всего лишь четыреста восемьдесят шесть человек. Настроение людей упало. Но благодаря тому, что в наших вагонах был весь актив лагеря Шанлю, полностью драмати-

ческий, музыкальный и хоровой кружки, — пленные стали успокаиваться.

Новый комендант маленького роста, с коротко подстриженной седой бородкой, расставил конвой, скомандовал:

— Пошли!

Серый густой туман покрывал землю. Как в дымовой завесе, утонула в тумане маленькая станция. Медленно по крутому косогорью поднималась вверх наша команда. Все молчали, только были слышны грузные шаги, побрякивание котелков да тяжелое, прерывистое дыхание.

С молчаливой тоской, с затаенной в сердцах тревогой встретили мы — скитальцы по чужбине — этот серый осенний день. За год пребывания во Франции мы перегонялись уже в четвертый лагерь. За все это время французское правительство принимало все меры к тому, чтобы разбить пленных на мелкие группы, — так их легче сагитировать на отправку в армию или, в крайнем случае, на работы. Но ничто не сломило нас. Неизменно и твердо продолжали мы настаивать, чтобы нас отправили на родину, в Советскую Россию.

И вот мы идем в неизвестное... Люди устают.

— Когда же будет конец проклятой горе?!

— Отдохнуть бы...

Потом дорога переломилась — пошла ровно. Итти стало легче. Здесь, наверху, туман был реже. Впереди вырисовывались холмы и среди них хмурые стены крепости. Мрачные мысли возникали в голове при виде этих стен.

Вот и крепость. Команда повернула за угол. Впереди шел комендант. Дорога вела прямо в тоннель, откуда виднелись широко раскрытые железные ворота.

— Товарищи, стой! — раздался голос Иванова. Все остановились, хотелось сбросить со спины надоевший груз вещей.

— Товарищи, — продолжал Иванов, — смотрите, куда нас ведут. Перед нами тюрьма. Ни шагу вперед!

— Ложись отдыхать! — крикнул кто-то.

Усталые люди побросали ранцы, повалились на землю. Иванов подошел к тощему коменданту и спросил:

— Куда нас ведут?

— Сюда, — показал комендант на крепость: — в форт де-Плесноу.

— Тогда разрешите нашей комиссии сначала осмотреть это жилье.

— Можете, — безразлично бросил комендант.

Комиссия во главе с Ивановым пошла в крепость. Вскоре она вернулась.

— Тюрьма! — резко сказал Иванов. — Под этой насыпью в сырых камерах нам предлагают жить. Не пойдем. Заявим протест. Пусть дают другой лагерь или отправляют домой!

Команда одобрительно зашумела.

— Мне приказано принять команду и разместить. О вашем протесте я сообщу командованию, — заявил комендант и быстро удалился. Но скоро он вернулся.

— Ваше требование я передал генералу. Его превосходительство сам прибудет сюда.

— Ну, ребятки, готовьтесь к встрече! — смеялся Иванов. — Будь, что будет. А теперь, музыканты, распаковывай свои инструменты.

Оркестр самодельных инструментов ударил марш. Потом «казачка». Отдохнувшая молодежь пошла в пляс. Конвоировавшие нас солдаты приблизились к нам, смеялись вместе с нами. Рони, подражая русским, пошел в присядку, но длинные ноги не подчинялись желаниям его. Рони повернулся неаккуратно и шлепнулся на спину. Плац огласился взрывом хохота. Пленные, с криком «качать», подхватили Рони на руки, и он высоко взлетел над головами.

Костров Паша, наблюдавший за пляской, вдруг побледнел. Его взор был устремлен в группу людей, стоявшую поодаль от команды.

— Сволочь, — сквозь зубы прошептал Паша, — и он с нами...

Я взглянул туда же, куда смотрел Паша, и увидел среди нескольких человек Шаргунова.

— Ну, гад, теперь ты не улизнешь, рассчитаемся... — с гневом продолжал Паша, сжимая кулаки.

На плац взбежал комендант.

— На место! — скомандовал он солдатам. — Смирно! Конвоиры вытянулись в струнку. Мимо скользнул автомобиль и остановился под тополями.

Открылись дверцы автомобиля. Из него вышел увешанный медалями генерал. Его сопровождали два офицера.

Приняв рапорт коменданта и приблизившись к нам, он спросил:

— Почему русские не хотят входить в форт?

— Господин генерал, — выступил вперед Иванов, — мы требуем другое жилье, а не эту тюрьму.

— Вы находитесь во Франции и должны подчиняться

французской власти, — крикнул на него генерал, притопнув ногой. Потом добавил:

— Приказываю сейчас же войти в форт! — Генерал встал в ожидающей позе, обводя глазами нас.

Пленные заволновались. Послышались протестующие голоса:

— Не пойдем, пусть дают другой лагерь!

Лицо генерала нервно передернулось. Он подозвал к себе адъютанта, что-то сказал ему. Последний быстро удалился в домик коменданта, откуда вел телефонный провод в город.

Вскоре на дороге заклубилась бледножелтая пыль. С гулом и треском подкатили грузовики. Нас оцепили солдаты и жандармы. Привели в боевую готовность пулеметы. Генерал заявил:

— Русские, я не хотел принять строгих мер к вам, я знаю русского солдата, как он дрался под Верденом, защищая нашу Францию. Думаю, что и вы одумаетесь и зайдете в форт без скандала. В противном случае я принужден буду действовать при помощи оружия.

— Если так, господин генерал, — выступая вперед, крикнул Костров Паша, — так стреляйте!..

— Пусть стреляет! — поддержали его пленные.

— Даю вам сроку пять минут! — коротко заявил генерал.

— Конечно, чего ожидать-то. Шли бы по-хорошему, — послышался вдруг голос.

Еще с самого начала прихода на плац группа человек в двадцать расположилась отдельно от остальных пленных. Услышав голос Тельцова из группы Шаргунова, генерал подошел к нему, ласково потрепал рукой по плечу:

— Идите, идите! Зачем ссориться?

Тельцов без сопротивления встал и пошел в форт, за ним последовали все шаргуновцы.

— Изменник! Сволочь! — потоком ругани обрушились мы на Шаргунова.

Генерал приказал жандармерии таскать наши вещи.

Минут тридцать, обливаясь потом, около шестидесяти жандармов выполняли приказание генерала. Все наши вещи были снесены в форт.

— Бери русских! — скомандовал генерал.

Жандармы бросились к нам. Началась возня. Наша группа, плотно сжавшись, то отступала, то сама напирала на жандармов.

Вот выходя из сил, бьется Иванов в руках двух жандармов. К нему на помощь кинулись товарищи. Костров ударил жандарма в грудь. Тот упал, с треском оторвав рукав гимнастерки Иванова. Костров, спотыкаясь, падает на него. Подбежавшие еще жандармы подхватывают Кострова за ноги и волокут в форт.

— Товарищи, не дадим! — кричит Денисов и первым бросается на выручку Кострову. На его плечи грузно виснут жандармы. Он не выдерживает, валится.

Группа, как один, бросилась к тоннелю, закрыла проход.

— Оставить! — скомандовал генерал.

Тяжело дыша, стояла наша группа, готовая встретить новый натиск. Жандармы отступили, построились в шеренгу, ждали приказа.

По распоряжению генерала один из офицеров построил прибывших солдат, подал команду. Раздался первый залп в воздух. Закружилась стая испуганных птиц.

— Еще минута, — кричал генерал, — входите в форт.

Но в форт мы не шли. Снова раздалась команда офицера:

— Стрельба прямо!

Не сразу поднялись ружья. Я заметил, что лица солдат были бледные, руки дрожали.

Среди нас наступила полнейшая тишина. Я только слышал тяжелые вздохи товарищей да стук своего сердца. В голове шумело, шумело.

На минуту выглянуло из-за тучи солнце, тепло и ласково улыбнулось, скользнуло по серым лицам пленников и снова ушло за тучи.

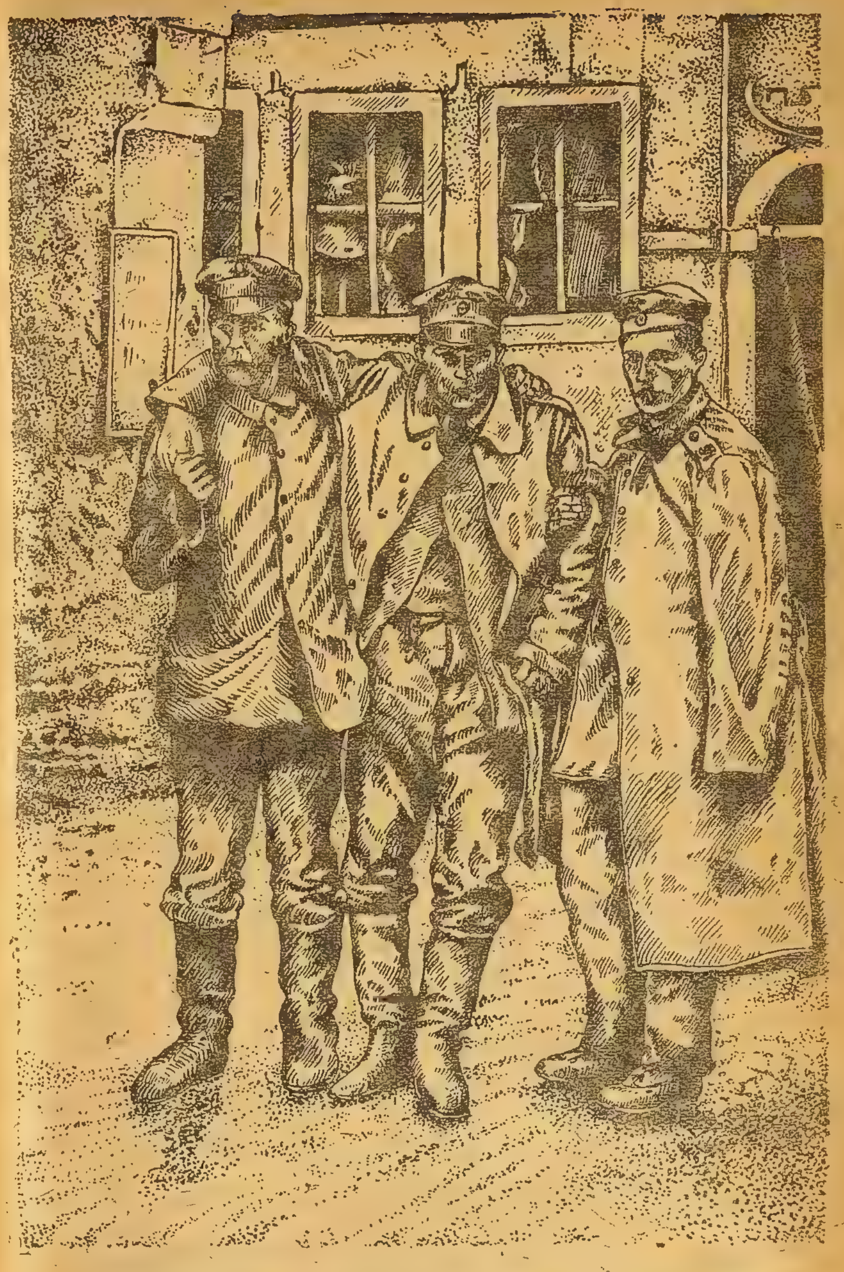
Оглушительный залп вывел меня из оцепенения. И одновременно я услышал тяжелые и протяжные стоны, Левицкий, распластавшись, упал впереди меня. Его лицо, ткнувшись в землю, утонуло в траве. Тело конвульсивно вздрагивало. Из-под гимнастерки струилась кровь.

— В атаку! — раздалась команда.

Широкие лезвия штыков засверкали перед нашими глазами.

Заработали приклады. Не выдержав натиска жандармов, мы отступили к тоннелю. Плотное кольцо штыков и карабинов сдавило нас. Сильный удар в затылок оглушил меня. Из глаз посыпались искры. Я повалился, но чьи-то руки подхватили меня и понесли.

...Очнулся я в мрачном, сыром подземелье.



Военнопленные несут на руках больного товарища.

— Ну, что? — услышал я голос дяди Вани.

— Что случилось?.. Где мы?

— Ничего не случилось. А ты верно гарную лепешку получил, аж заснул, — продолжал шутливо дядя Ваня.

— Я спрашиваю, где мы, дядя Ваня!

— Да ты що, хлопец... Ряхнулся что ли? Где мы? В форту. Загнали як скотину, и все.

Я хотел приподняться, но почувствовал сильную боль в затылке и снова спустился на землю.

— Все ли вошли дядя Ваня?..

Дядя Ваня плотно сжал губы и дрожащим голосом сказал:

— Нет, не все, хлопец! Шесть человек убили, много покалечили, гады. — Он замолчал на мгновенье, фыркнул широкими ноздрями. — Жалко мне Левицкого: хорош был товарищ... Ну, хлопец, ходымо в фортецу. Там полежишь, легче станет. Вставай, я тоби поможу.

Дядя Ваня помог мне встать с земли и, поддерживая, повел через второй туннель в середину форта.

Так закончился день двадцать восьмого октября 1919 года.

XVI

Длинными темными тоннелями перекрещена вся внутренность крепости де-Плесноу. Четырехугольным квадратом опоясывал форт канал с отвесными стенами, выложенными диким камнем на глубину десять метров. Ширина канала равнялась высоте его. В передней части (в военном отношении с задней) форта, слева и справа, начиная со стены канала, были служебные одноэтажные помещения. В этих помещениях расположился караул, там же были продовольственные склады. Посредине, через канал, переброшен железный мост, за ним высокая арка, на которой виднелись буквы, выбитые на камне: «Де-Плесноу». Под аркой — высокие железные ворота, а за ними начиналась внутренняя часть крепости.

На переднем дворе, поперек форта, растянулось низенькое здание офицерских квартир. Каждая квартира имела отдельный ход. В офицерских комнатах были широкие окна с железными переплетами, деревянные полы и камины. И несмотря на то, что они пустовали, нас в них не разместили.

С обеих сторон офицерского здания шли два тоннеля по пятьдесят метров длины. Каждый из тоннелей выходил на второй двор, который был похож на продолговатую каменную коробку.

Вокруг этого двора расположены солдатские комнаты. Каменные стены кончались у оконных карнизов, выше начиналась земляная насыпь, толщиной до пяти метров, покрытая зеленой травкой. Из двора, со дна колодца, словно из могилы, виднелся клочок неба, а ночью, чуть заметно, мерцали звезды. Солнце во двор проникало только в полдень и то на короткое время.

Одно маленькое оконце нашей комнаты бросало мутный свет на черные железные нары. Сырой, покрытый плесенью, висел над нами аркообразный каменный потолок. Каждая комната имела отдельный ход со двора, а в глубине ее была вторая дверь, которая выходила в темный подземный тоннель, опоясывавший весь форт. В этот тоннель никогда не проникало солнце, там постоянно стоял сырой и холодный воздух. Он проникал сквозь двери и наполнял зловонием комнату. Цементированные полы и каменные стены тоннеля были покрыты мокрой слизью.

Первый и второй двор, расположенные параллельно, связывались двумя тоннелями. В одном из них — огромные складские помещения. Они были совершенно без света и пустовали. В этом помещении впоследствии мы оборудовали театр.

Долгое время все товарищи были грустны и не веселы, да и было о чем грустить, вспоминая лагерь Шанлю... Здесь не слышно было оркестра, веселого смеха. Не звучали украинские песни. Притихла молодежь.

Угрюмые каменные своды, толстая земляная насыпь живьем схоронили четыреста восемьдесят человек.

Прошло две недели, положение не изменилось, люди тосковали, томясь в каменном мешке форта. Днем выходили на верх, бродили по земляной крыше и с болью сердца смотрели в прозрачную даль, на деревушки, разбросанные на десяток километров. Смотрели на крестьянские поля, на голубое осеннее небо и молча, угрюмые, с затаенными мыслями возвращались в свое подземелье.

Еще при загоне в форт комендант заявил нам, что вся внутренность крепости будет в нашем распоряжении. Так мы и жили: нас никто не проверял, никто не справлялся о

нашем здоровье. Врачебного пункта не было. Только сильно больных отправляли в город за четырнадцать километров, а на остальных нас никто и внимания не обращал.

Комендант форта жил в отдельном домике за пределами крепости. Он никогда не появлялся у нас. Мы жили своим порядком, ели то, что давали, — требовать было не с кого.

Лагерный комитет почти целиком попал в нашу группу Иванов решил его собрать и обсудить вопросы быта.

Как-то поздно вечером мы вышли на вольный воздух, расположились у наблюдательной будки.

Уже давно потухли огни в комнатах и форт погрузился во мрак. Темная осенняя ночь висела над нами; в черном саване утонули холмы и бойницы. Откуда-то издалека доносился грохот мчавшихся поездов. Мы расположились у наблюдательной башни форта, закутавшись в шинели. На каменной плите, в глубокой задумчивости, склонив голову, сидел Иванов. Напротив него, прислонившись к кирпичной отдушине, стоял Костров. Рядом с ним сидел я. Мой взор, полный тоски, был устремлен в бесконечную тьму ночи. Мысли путались и переплетались с хаосом жизни.

Остальные товарищи, расположившись под башней, сидели молча с той же тяжелой тоской в сердце. Почти все мы были очень молоды, в нас не остыла кровь, мускулы жаждали борьбы и труда, но расправить, развернуть свои силы мы были беспомощны. Нас сковали каменные своды форта.

После некоторого молчания, словно поняв наши мысли, Иванов поднял голову, прислушался к ночным звукам и сказал:

— Нет, больше так невозможно! Если французы не заморят нас голодом, — мы умрем с тоски, зачахнем в этих подземных трущобах. Нам нужна... Нам надо искать пути к другой жизни. Сейчас перед нами стоит задача: связаться с крестьянами, рассказать им, как мы живем, — и вместе с ними повести борьбу за улучшение нашего быта. Надо всколыхнуть массу, поднять упадочное настроение людей. Разве этого мы не можем сделать? Можем, только надо иметь желание.

— Я не думал, — помолчав продолжал Иванов, — что товарищ Денисов так упадет духом. Почему наши кружки не работают? Когда грустно, когда тоска сосет сердце, — мы, передовики, не сумели найти рецепта для излечения этого. Я знаю, у некоторых создались такие настроения.

Увлекаетесь мыслью о побеге. Хотите искать лучшего для себя... А люди? Весь коллектив пленных? Никуда не годятся, товарищи, такие мысли!

Иванов замолчал. Молчали и остальные товарищи.

— Ты прав, Иванов, — не сразу ответил Денисов. Голос его дрожал. — Было одно время, — я собирался в бегство. Целыми днями ходил по темным тоннелям, искал выхода. Не спал ночи, обдумывал этот план. Однако теперь раздумал и в своей ошибке раскаялся. Сейчас я решил найти выход из создавшегося положения другим путем: надо организовать вылазку, связаться с крестьянством. Дело нелегкое, но возможное. Большинство часовых с нами. Генрих и Рони — надежные ребята...

— Это правда, — ответил я, — вылазка из форта нам необходима и мы ее должны устроить.

После долгого обсуждения вопроса о вылазке комитет решил отыскать выход. Первую командировку из крепости получил Костров Паша, а в случае неудачи должен пойти я. Паше поручили, как одному из честных и надежных товарищей, узнать отношение крестьян к нам, русским военнопленным.

Паша долго не колебался, решил на следующую же ночь отправиться в путешествие.

Иванов, вставая, пожал руку Паше, сказал:

— На тебя я надеюсь, вернешься благополучно и расскажешь нам обо всем, что узнаешь. А нам, — обращаясь ко всем нам, продолжал Иванов, — пора взяться за работу здесь в форту. Когда загоняли в форт, мы видели, что среди нас есть предатели. Надо ухо держать востро. Товарищи Горячев, Денисов, ваша задача оживить художественные кружки, организовать вечера, оборудовать театр. Начать работу школы.

— С утра же я приступаю к оборудованию театра, — ответил Горячев, — ручаюсь, что через три дня он будет открыт. Не так ли, Денисов? Ты подготовишь своих «актеров»?

— Согласен... — ответил Денисов.

Иванов подошел к Паше.

— Прощай. Принеси нам газету «Юманите», и если сумеешь, сделай так, чтобы она ежедневно проникала в нашу темницу и освещала наши застенки своими страницами.

Группа людей, разговаривая вполголоса, спустилась вниз по лестнице под наблюдательной башней.

Я на минуту остановился с Костровым. Над широкой

степью, раскинувшейся вокруг форта, лежала ночь, полная тишины. Одинокие, мы еще долго стояли с глубокими мыслями и смотрели в бездну темноты.

За последнее время в упорной работе над собой мы развились, окрепли. Сама жизнь, злосчастная судьба, тысячи переживаний закаляли нашу волю и силу; создалась уверенность, что мы выйдем победителями.

Мы понимали, что теперь, как никогда, мы дороги, мы нужны именно вот здесь. Полунеграмотная масса пленных нуждается в более крепких людях, и мы должны отдать все для этих людей.

Ночной холод сырой осени постепенно давал чувствовать себя, я плотнее закутался в шинель, обернулся к Паше. Глаза Паши встретились с моими и я в них увидел что-то близкое и дорогое. Да, действительно дорогое. За такой длинный путь, с первых шагов военной службы, мы с ним не расставались ни на один миг. Страдал он, — страдал я. Терзали его, — мучился я. И все, что переживал он, — переживал я. Тяжелая жизнь нас скрепила дружескими узами.

— Идем, — тихо сказал Паша.

Мы спустились молча по лестнице в темный тоннель. А на следующую ночь я проводил Пашу в побег.

Остаток ночи я спал плохо. Все мои думы были полны Пашей. «Удастся ли ему эта вылазка? — думал я. — Вернется ли обратно? Если арестуют, отправят куда-нибудь в другое место или поступят так, как с Чаповым... Нет, не может быть, Паша должен вернуться».

Я старался отогнать прочь эти мысли, однако они все больше и больше тревожили меня. В душе я даже проклинал себя, почему я остался, почему не пошел вместе с ним... Часовые его не задержат, ведь на посту стоит Генрих... Но там, за фортом, в деревнях, могут его арестовать, в каждой деревне жандармы... Они могут отправить его в город... Нет, этого не может быть. Паша не из таких, чтобы сам влез в лапы жандармов. Он, правда, храбрый, вспыльчивый, но и умный; когда нужно, умеет быть осторожным.

Успокоившись, я заснул, а когда открыл глаза, было уже раннее утро.

Я оделся и без шапки вышел из душной комнаты во двор. Утренняя прохлада вливалась в грудь. Легкий ветерок колыхал мои волосы. Я поднялся на вал. Далеко из-за горизонта всходило красное солнце. Долина у подножья

форта тонула в утренней дымке тумана. На углах крепости мерным шагом прохаживались часовые.

Генриха уже не было. «Сменился», — подумал я и направился вниз. В тоннеле неожиданно наткнулся на Горячева. Он был весь в пыли и паутине.

— Дема, что с тобой?..

Горячев посмотрел на меня и, усмехнувшись, ответил:

— Все трущобы облазил, а нашел...

— Что нашел? — удивился я.

— Материал... Ведь слышал вчера, мне поручили театр оборудовать. Ну вот, с полночи лазаю по тоннелям да бойницам.

— Ну и что же?

— Вон там, в левой части форта, в бойнице, нашел ярус досок от железных коек. Сейчас надо собрать людей и перетаскать. Скамейки из них сделаем. А пол для сцены я думаю... вот из тех дверей, — Горячев показал на огромные двери, что висели на сарае, — снимем и перенесем.

— Давай, Дема, и я помогу.

— Не надо, сцену и места я сам сделаю. Ты уж готовь костюмы и людей. — Горячев засмеялся и начал стряхивать пыль с гимнастерки.

В этот же день, после завтрака, человек двадцать вышли с Горячевым на perноску досок. Приступили делать козлики для скамеек. Принесли две половинки огромных дверей, положили на козла, — и получилась прекрасная сцена. Декорацию и занавес, привезенные из Шанлю, развешивал дядя Ваня с Некрасовым. Человек десять строили скамейки для сидения зрителей. Кудинов собирал фонари. В сарае он нашел две карбидовые лампы, очистил их от грязи и, гордясь своей находкой, заявлял:

— Мой свет запылает ярче электрического.

Коротков, что был учителем в лагере Шанлю, по поручению Иванова обходил все комнаты, записывал неграмотных и малограмотных учиться. А Иванов, облюбовав одну пустовавшую комнату, собрал людей и велел вынести мусор, смахнуть пыль и паутину, облипающие стены. Вытерли стекла. Нашли несколько столов и табуреток для учащихся. И школа была готова.

В эти дни отдыхать приходилось мало. На мою долю выпала нелегкая работа. Надо было выписать роли для каждого «актера» в отдельности из пьесы «Власть тьмы». Эту пьесу Толстого мы достали еще в Шанлю через доктора Рубакина. Кроме нее у нас еще были: «Живой труп»,

«Ревизор» и сборник водевилей. До поздней ночи я просиживал за выпиской ролей и когда их закончил, приступили к репетиции.

Через три дня сцена и места были готовы. В первой постановке мы дали водевиль «Медведь. В заключение — хор и выход клоунов.

Зрительный зал, устроенный в складском помещении, вмещал до двухсот человек. На первом вечере все места были забиты людьми. На передней скамье сидели Генрих и Рони. Они привели с собой еще трех солдат. И ночью, после спектакля, расходились в веселом настроении. Люди сразу повеселели. В этот вечер я чувствовал себя в каком-то возбуждении. Радовался первой постановке, которая прошла так удачно. Прямо со сцены, не раздеваясь, в женском костюме и с напудренным лицом, я побежал в свою комнату. Радость моя вышла из границ, когда я увидел Кострова Пашу, сидевшего на моей койке.

— Паша? — крикнул я, бросаясь с вытянутыми руками вперед.

— Милая, как ты красива! — улыбаясь, встретил меня Паша, принимая в свои объятия.

— А мы, Паша, театр открыли. Сегодня первый вечер. Ну, как у тебя, рассказывай...

В комнату вошли Денисов, Горячев и дядя Ваня. Он еще был в клоунском костюме. Подбежали Некрасов и Бабиков, тоже в женских костюмах. Все они радовались возвращению Паши, горячо пожимая ему руки, а Бабиков незаметно выскользнул за двери и вскоре возвратился, таща за руку Иванова.

Петр Иванович уже ложился спать, когда к нему прибежал Бабиков и сообщил о возвращении Кострова. Он не стал одеваться, накинул на плечи шинель и в одном нижнем белье прибежал к нам и еще из двери крикнул:

— Павлик!

Иванов тряс Кострову руку, под рыжими усами Иванова расплывалась улыбка. Глаза весело играли.

— Ну как, ну как?.. — задыхаясь от радости, продолжал Иванов. — Рассказывай, — какие новости?

Паша рассказал, что первая вылазка ему удалась. В деревнях крестьяне расположены к русским хорошо. Но большая часть зажиточных крестьян и торговцев враждебно смотрят на русских.

— Вылазка необходима, — в заключение сказал Паша, — вы без меня тут поработали: открыли театр; надо от-

крыть и танцы, — пусть молодежь не скучает, а кроме того мы этим привлечем и французских солдат. Не только Генрих и Рони, а все они будут помогать нам вылезать из форта.

Поздно ночью мы разошлись по своим койкам и легли спать.

XVII

Прошло пять месяцев. Кончились зимние дожди и слякоть. Наступила весна. Земляная насыпь над нашими комнатами покрылась зеленым бархатом молодой травки. Расцветали деревья. Весеннее солнце скользило по верхушкам холмов, играло на башнях и разливалось по бесконечной степи.

И люди стали как будто не те. Хор и струнный оркестр по целым дням и до поздней ночи просиживали на земляной крыше форта. Далеко катились с вершины русские песни. Днем они замирали в полях, а ночью будили мертвую тишину.

Не раз пахарь в поле останавливал свою лошадь, прислонял руку к козырьку соломенной шляпы, всматривался в высокие вершины форта де-Плесноу. Долго слушал непонятные для него слова песни.

Проходящие мимо форта французы часто останавливались. Точно магнит притягивал их к угрюмой каменной стене крепости, обросшей мохом. Француженки вынимали белые платочки, тепло приветствовали узников-певцов. И этого нам было достаточно. Мы их понимали. В этом братском привете мы чувствовали теплоту их сердца, расположенного любовно к нам.

Паша лежал на свежей траве и смотрел куда-то вдаль, а я читал стихи из сборника военнопленных:

Как полно все жизнью красивой!
Стройные тополи и розы кругом,
Из зелени виллы глядят прихотливо,
Даль тонет в пространстве морском.
Смотри, упивайся прекраснейшим югом!
Лечи свои скорбби, печали души!..
Но нет, — тяжело здесь... С тревожным испугом
Я звукам далеким внимаю в тиши, —
Тем звукам, что птицами черными вьются
В безоблачных сферах прекрасного дня,

Что с севера дикого стаей несутся,
Что сердце невидимо рвут у меня...
Зловещие вести... И ночью и днями,
Как черные птицы над полем костей,
Мне острыми грудь разрывают когтями...
Я полон отчизной... Я болен отчизной моей...

— Да, правда, — тихо прошептал Паша, — кругом красота!.. А здесь... тоска сжигает сердце! Э-э-х, жизнь!..

Паша быстро поднялся и сел, заломил пальцы. Они хрустнули. Его бледное лицо выражало душевную боль. Но все внутренние волнения он умел как-то быстро успокаивать. Вот он откинулся, снова лег, закрыл ладонями глаза и запел тенором песенку:

Вспомним, товарищ, родную Россию,
Вспомним о детстве, прошедшем как сон,
Вспомним о юности, рано прожитой,—
Вспомним давай обо всем!

Перестав петь, Костров тяжело вздохнул, закрыл глаза ладонями рук. Тень прошла по его бледному лицу. Мягкий рот на секунду открылся, обнажив белые зубы. На румяных губах застыла недопетая песня.

Я смотрел на его красивое, с правильными чертами лицо, прямой нос и мягкий пушок, покрывавший верхнюю губу, и меня взволновали те же мысли, что и Пашу. Я вспомнил голодную смерть Левашова, трагически погибшего Суркова и Тарасова. Тоска подкатывалась к сердцу, щемила его.

Где-то позади задребезжали струны цимбалы, завизжали скрипки и протяжные заунывные звуки полились в пространство. Мы лежали молча и слушали...

Вот бубен ударил трепака. Я поднял голову, оглянулся. На бойнице собрались товарищи. Играла музыка. Постепенно и на душе стало легче. Прошедшее уходило дальше, исчезло во мраке, мысли возвращались к действительности.

Перед нами раскрывалась чудесная панорама. Тихий день. В безоблачной глади неба катилось золотое солнце и жгло своими лучами землю. Впереди расстилалась на десятки километров равнина, пересеченная вдоль и поперек прямыми линиями шоссейных дорог. Стройные тополи, кучерявые яблони, точно цепи солдат, охраняли шоссе. Кой-где разбросаны деревушки, виллы, тонувшие в зелени. У

подножья горы, на котором возвышался наш форт, гудели мимо мчавшиеся поезда. С высоты пятисот метров они казались нам извивающимися змейками. Позади нас на четырнадцать километров тянулось плоскогорье и оно упиралось в гору, на которой стоял город Лангр, а вправо и влево от него — темные возвышенности фортов Пени и Боньера.

— Знаешь что? — поднимая голову, первым заговорил Паша. В его голосе уже звучал другой тон. Набежавшая тень тоски ушла с лица. Паша улыбался. — Когда вот я сижу на этой башне, так мне все кажется, как будто я на корабле. А это бесконечное поле, расстилающееся перед нами, — как бы море.

— А деревушки, по-твоему, что?

— Деревушки?.. Деревушки — это острова нашей пристани. Вылезем из форта ночью, — пристанем к деревушке днем.

Мне стало смешно. А в сущности оно так и получается.

— И вот сейчас представим, что я сижу на корабле, — продолжал Паша, — и вообразим, что этот корабль на якоре. Ну вот, я отдам концы, подниму паруса, проплыву сквозь тоннель, выйду в открытое море и причалю, ну... хотя бы вон к той деревушке Нюи. А там люди добрые, мой корабль примут под особое попечение.

— Ха-ха-ха! — засмеялся подошедший к нам Денисов, который слышал последние слова Паши, и добавил:

— Особенно у маленькой Нелли!..

— Прошу над моей Нелли не смеяться, — с поддельной серьезностью возразил Паша. — Она — премилое существо. Она каждое воскресение для меня заготовляет по нескольку номеров «Юманите», которую читаете и вы.

Денисов сел на траву, прищурил смоляные глаза, начал считать деревни, в которых он был:

— Вот эта Плесноу, за ней Бронде, Линье, Нюи, Эмилье... Вот эту забыл. Все названия тяжелые, не упомнишь, а их около полсотни. Вот, глянь-ка, самая последняя, километров двадцать от форта, а кажется рукой подать. Я там был в прошлое воскресенье. Иду по улице, на меня глаза вытаращили. Думают: «откуда это взялся?» Вижу: на крыльце сидят крестьяне. Думаю: попросить воды или нет?.. А пить хотелось страшно... Решился и подошел к ним. «Донэ муа, мосье, де ле», — сказал я, как умел. Один из них спрашивает: «Что такое?». Ну, я показал им, что пить хочу. Сразу поняли. Потом спрашивают: «Вы америка-

нец?» Мундир у меня американский, — они и подумали, что я американский солдат.

— А твоя физика смахивает на американца, — рассмеялся Паша. — Только бы золотые зубы еще...

— Ну, я говорю: «Нет, я — русский». Они все чуть не подпрыгнули. «Русский!» — крикнули они. Один из них позвал хозяина дома и велел ему вынести вина. Хозяин быстро исчез в дверях. Вскоре он вынес большую кружку вина. Я залпом выпил. Пригласили сесть. Сел. Дают курить, — курю. Долго говорили мы о революции в России, о Ленине, большевиках и о войне. Один из них был инвалид войны, он со злобой закричал:

— Долой войну! — Я оглянулся, он сидел позади, а его искусственная нога валялась на земле. — Долой буржуев, — продолжал кричать он. — Да здравствует русская революция!

В этих словах я разобрал, что инвалид ругал войну, буржуев и приветствовал русскую революцию.

На прощанье они горячо пожимали мне руку и просили приходить почаще.

— Как ни старается буржуазия запакостить нас в своей печати, — сказал я, — она бессильна. Большинство крестьян уважает и любит нас...

— А вон и Генрих идет! — вскакивая на ноги, крикнул Паша. — Сюда! Сюда, Генрих!

С тех пор как в форту открылся театр и играла музыка, — французские солдаты караульной роты, свободные от дежурства, постоянно находились у нас в форту. Они приносили табак, сигаретки, письменную бумагу и разные газеты. Комендант их не проверял, поэтому солдаты чувствовали себя свободными. Они сидели в театре вместе с нами, иногда даже выступали с песнями на нашей сцене. Научились танцовать почти все русские танцы. Генрих, солдат средних лет, эльзас-лотарингец, год служил в германской армии. Был на русском фронте. В конце 1916 года он попал в плен во Францию. Когда Эльзас-Лотарингия перешла к французам, его мобилизовали во французскую армию. С первых дней пребывания в форту он стал хорошим товарищем и другом.

— Фу, устала... — задыхаясь сказал Генрих. — Высоко...

— Садись, Гена, отдохни.

Гена, как мы его звали, по очереди пожал наши руки и сел на траву.

— Тапак, тапак есть. — Он вынул из кармана четвертуху легкого табаку, раскрыл пачку, пригласил закурить.

Генрих разговаривал с нами по-немецки и не совсем правильно по-французски, зная несколько слов и по-русски. Но мы с ним всегда находили общий язык, хорошо понимали друг друга.

— Хорошо тапак? — когда задымили четыре цыгарки, спросил Генрих.

— Гут табак.

— Бон табак.

— Хороший табак, — каждый по-своему отвечали мы.

— Генрих, когда поедем домой? — спросил Паша.

— Мой не знает. Мой нет дома, — ответил Генрих. — Был дом в Германии, а теперь во Франции.

— А где лучше жить, Генрих: у немцев или у французов? — спросил Денисов.

— Мой мать немец, а отец француз. Некарашо немец. Некарашо француз. Власть капиталиста. Много буржуй. Некарашо.

— А где же хорошо нам жить? Везде капиталисты, — сказал я.

— Русланд гут. Капиталисты капут! — Генрих вынул из кармана газету «Юманите» и подал нам. — Читай!

На передовой странице была напечатана сводка о победах Красной армии на южном и северном фронтах. Полный разгром остатков колчаковщины. Красные под Варшавой. Врангель отступает на юг.

— Хорошо, камрад, если бы вот и вы так с русскими вместе против своих капиталистов... — сказал я.

— Скоро, скоро... — ответил Генрих, уходя.

Долго мы еще сидели, говорили о революции и о гражданской войне в России. С жадностью искали знакомые нам слова в «Юманите» и по ним определяли содержание статьи. Многие товарищи за полтора года пребывания во Франции хорошо уже говорили и читали газеты вслух на общих собраниях. «Юманите», проникавшая в каменные застенки форта, стала нашей любимой газетой, вестником о событиях в России.

Ясный теплый день шел к концу. Когда солнечная тень поднималась до карниза, где кончалась каменная стена и начиналась земляная насыпь, то было шесть часов вечера. Так мы определяли время. За шесть месяцев заключения

в форте мы забыли о часах. Вставали утром и ложились спать вечером каждый по-своему, когда хотели. Казалось, времени для сна было достаточно. Однако люди не спали. После завтрака ликвидирующие свою неграмотность шли учиться в школу. Их занятия проводились с восьми часов утра и до двух дня. Учитель Коротков, не имеющий учебников, сделал буквы из картонной бумаги и по ним учил неграмотных. Много пленных, бывших совершенно неграмотными, стали читать и писать.

После обеда все свободные люди собирались на заднем дворе, располагались на отлогой насыпи, покрытой зеленым ковром молодой мягкой травки. С другой стороны, вторая насыпь, прикрывавшая бойницы и обозные сараи, скрывала нас от посторонних глаз из вне форта. Эта насыпь, огибавшая четырехугольником весь форт, походила на огромный земляной вал со множеством дверей, ведущих в бойницы. Наружная сторона насыпи лежала на каменной стене обводного канала.

Описываемое место, где мы постоянно собирались, похоже было на амфитеатр. По обеим сторонам один над другим сидели люди. Иногда выносили стол и скамейки, ставили в узком проходе между двух насыпей. Члены лагерного комитета садились вокруг стола. Иванов раскладывал газеты, книги, которых к сожалению было слишком мало. Читали поочередно, а больше всего приходилось читать мне. «Юманите» Паша доставал с переводом на русский язык, а она описывала точное положение на фронтах гражданской войны. Каждую победу Красной армии мы приветствовали аплодисментами и горели одним желанием: скорее, скорее в Советскую Россию, в ряды своей родной Красной армии!

Иванов рассказывал:

— Не будет помещиков, фабрикантов, частных торговцев. Земля — крестьянам, фабрики — рабочим, государством управлять будут рабочие и крестьяне. Не будет церквей и попов, которые дурманили наш разум, обманывали, пугали неграмотных темных людей — богом и кромешным адом.

Каждый из нас расходился после собрания по сырым комнатам с глубокими мыслями. Старикам тяжело было одолеть религиозные предрассудки. Иные старички, стыдясь товарищей, перестали молиться в комнате. Они вставали рано, особенно по воскресениям, уходили куда-нибудь в бойницу или тоннель и молились там богу. Их не ругали

и не смеялись над ними, а убеждали, постепенно и упорно. Вдобавок и в закрепление к громким читкам мы на сцене своего театра ставили революционные и антирелигиозные пьесы.

И постепенно наши старички забывали бога, не ходили в тоннель молиться, а больше и охотнее посещали наши беседы и театр.

Однажды к нам в комнату зашел Генрих.

— Здравствуй, русский! — весело крикнул он.

— Здравствуй, здравствуй, камрад! — послышались голоса.

— А я вам что-то принес! — подмигнув левым глазом, сказал Генрих.

— Что ты принес, Гена? — спросил я.

Генрих приподнял полу шинели и подал мне флаг.

— Белые и синие полосы — в театры на костюмы, а красная — карош флаг.

— Вот спасибо, Генрих! — воскликнули все. — Где это ты достал?

— Солдат дарил...

— Молодец, Гена, молодец! — вытирая пот с лица, сказал Денисов. — Садись и посмотри, что мы делаем.

— Карош звезда, карош будет!

— Мы ее повесим в театре. Только вот что, Гена, не достанешь ли ты нам свечку, мы поставим ее в середину и зажжем. Звезда у нас будет светиться.

— Карашо, принесу.

Паша принес от Нелли из Нюи красной бумаги. Я оклеил звезду и повесил в театре над занавесом.

Второй год во Франции Первое мая мы встречали также организованно, только в крепости.

Еще с первых дней жизни в форту на кухне работали наши русские повара, был свой артельщик. Поэтому общим собранием мы постановили за несколько дней до Первого мая начать экономию продуктов, а в день праздника приготовить хороший обед.

После первой вылазки из форта Кострова у нас начались массовые вылазки. На всех четырех углах стояли часовые, но поскольку они постоянно находились у нас в форту, то при вылазке не задерживали нас. Обычно вылазка начиналась по воскресеньям. Мы группами собирались на заднем углу бойницы. Музыканты уговаривались между собой, в какие деревни пойти. Еще на месте они разбивались на две-три группы, предупредив об этом мо-

лодежь, любящую танцы, и часов с пяти утра собирались в поход со своими музыкальными инструментами.

На противоположной стороне канала по углам стояли железные решетки. Мы поодиночке из форта опускались тоннелем в канал, вылезали в окно бойницы на дно канала. Там лежал нами приготовленный длинный железный прут, согнутый на одном конце в крючок. Этот прут мы подвешивали к железной решетке и поднимались, упираясь ногами в каменные выступы стены. Часовые в это время отворачивались. Они больше наблюдали за квартирой коменданта, чем за нами. И если появлялся на дворе комендант, — часовые подавали нам условный сигнал и мы моментально исчезали.

В деревнях и местечках, музыканты вместе с танцорами заходили в буфет под предлогом «промочить горло» и сейчас же начинали танцы. Собирались французы и танцы превращались в массовые гулянки.

Ночью мы возвращались прямо в ворота. Часовые открывали их и пропускали нас.

В день Первого мая мы предполагали всем хором, драмкружком и с музыкой выступить на вершину форта, — поэтому в деревнях просили французов придти к форту и хоть на далеком расстоянии посмотреть и послушать русские песни и музыку.

XVIII

Наступила первомайская ночь. Всякие приготовления к проведению праздника закончились. И этот день прошел бы для нас с большим успехом, если бы Шаргунов не предупредил коменданта о наших приготовлениях. С первого дня пребывания в форту группа Шаргунова поместилась на втором дворе, в комнате номер девять. Их было десять человек. Долгое время они не показывали себя, вели замкнутую жизнь, не ходили в театр, не появлялись на танцах, — и мы их забыли. Это для нас было большой ошибкой. Так как французские солдаты симпатизировали нам, то шаргуновцы боялись клеветать на нас. До поры до времени они никакого вреда не приносили нам. Но пользуясь нашим невниманием, шаргуновцы зашевелились. Первое выступление шаргуновцев было в середине апреля. В местечке Нюи Тельцов и Миронов, отъявленные пьяницы, напали на нашего учителя Короткова. Они набросились на него,

когда Коротков выходил уже из местечка, и нанесли несколько ран перочинным ножом. Короткова в бессознательном состоянии увезли французы в городскую больницу, где он пролежал сорок дней. Все мы были возмущены поступком Тельцова и Миронова. Лагерный комитет просил коменданта арестовать их и отдать под суд, но комендант отказался это сделать, ссылаясь на то, что пострадавший не француз.

В день Первого мая я проснулся рано утром. Мне нужно было закончить плакат, который начал писать еще вечером на фанере. Паша еще спал. Я вышел в тоннель, где стоял наш умывальник. Вдруг услышал чьи-то шаги. Я оглянулся. Ко мне приближался человек с мешком подмышкой. В мутном свете утра я не сразу узнал его, и лишь когда он подошел ко мне вплотную, я смог разглядеть его лицо. Это был Нахинбаев из комнаты Шаргунова.

— Ты куда это собрался?

Нахинбаев дрожал и боязливо оглядывался.

— К вам иду... Не могу больше там жить...

— А чего дрожишь, как гусь мокрый?..

— Они угрожают мне... А я не могу, хочу вам сказать все...

— Угрожают?.. Идем в комнату, там расскажешь...

Я провел Нахинбаева к своей койке, посадил на табуретку.

— Ну, сказывай: за что тебе угрожают и кто угрожает?

Нахинбаев на секунду спрятал глаза под выпуклым отвесом бровей, глубоко вздохнул, втягивая воздух в широкие ноздри, и продолжал:

— Шаргунов... сегодня ночью сказал: если я пикну, плохо будет. А Тельцов ножом пригрозил... Я один там, постоянно нападают и слова сказать нельзя...

— За что же это они тебя?

Услыхав наш разговор, Паша проснулся. Его желтоватые веки приподнялись, на белых щеках выступали розовые пятнышки, темные волосы сбились в кучу.

Заметив постороннего, Паша приподнялся на подушке и по привычке заложил обе руки под голову.

— А-а... Нахинбаев... — отгоняя сон, сквозь зевоту проговорил Паша.

— Убежал от своих. Угрожают... — сказал я Паше.

Нахинбаев выпрямился, в его черных глазах мелькнули слезинки, жирная губа дрогнула.

— Какие свои. Они мне жить не давали...

— Так за что же угрожали?..

— Вы готовились к Первому мая... — тихо и боязливо начал Нахинбаев, — а Шаргунов ночью ходил...

Я как-то невольно посмотрел на Кострова, он приподнял голову, насторожился.

— Куда ходил? — с тревогой спросил я.

— К коменданту... Я слышал еще днем вчера, они сговаривались... Собирались заявить коменданту, что вы хотите с красным флагом выходить на форт.

— И он заявил?! — вскакивая с койки, крикнул Паша.

— Да, заявил. После этого и мне угрожали, чтобы я молчал.

— Что же они потом говорили, когда вернулся Шаргунов? — спросил я Нахинбаева.

— Не спали до полночи. Все шептались. Что-то говорили о жандармах. Я не мог заснуть до утра. Хотел уйти и боялся. Наконец, вот решился.

— Молодец, а бояться тебе нечего. Занимай рядом койку и живи с нами. Здесь тебя никто не тронет!

Нахинбаев повеселел, улыбнувшись широким ртом, направился к койке, на которую показал ему Костров.

— А нам, Паша, время терять нечего. Надо сейчас же сообщить Иванову и кого-нибудь выставить на форт понаблюдать, что делается за фортом. Приготовляться к выступлению надо осторожно...

Паша завязал шнурки обмоток, взял мыло, полотенце, направился к выходу. Я вспомнил, что и мне надо идти умываться, — вышел из комнаты вслед за Пашей.

Постепенно просыпалась жизнь форта. Застучали дубовые двери по комнатам. Густой дым, вырываясь из кухонной трубы, расстилался над насыпью и таял в утреннем рассвете.

Закипела работа в кухне. По двору и тоннелям разносился приятный запах жареного мяса. В этот день все проснулись рано. Наряжались, чистили ботинки, — готовились выйти на митинг, который организовывал фортовой комитет.

Дядя Ваня смастерил красный флаг. Сам написал на нем: «Да здравствует Первое мая!» Я на фанере написал плакат: «Требуем отправки в Советскую Россию!»

Ровно в десять часов выстроились мы на переднем дворе.

Иванов как председатель фортового комитета произнес речь о значении Первого мая.

— Мы знаем, товарищи, — говорил Иванов, — что в царской России празднование Первого мая рабочим не разрешали. Маевки устраивались в лесу, они разгонялись казаками и жандармерией. Вожаки маевок ссылались в Сибирь...

Он говорил с жаром все быстрее и громче. Его слова звучали отчетливее, разносились по тоннелям и замирали в самых отдаленных уголках форта.

Товарищи смотрели на него широко открытыми глазами, ловили каждое слово, стараясь запомнить.

— Товарищи! — продолжал Иванов, — не долго осталось нам томиться в крепости! Придет время, вернемся в Советскую Россию и станем свободными гражданами — строителями новой жизни. Сами будем управлять государством! Чтобы враги не использовали нас для своих целей, мы должны еще крепче спаять себя воедино и дать решительный отпор! Наша цель, наши стремления — добиться во что бы то ни стало отправки в Советскую Россию!

Свою речь Иванов закончил приветствием вождям русской революции, коммунистической партии.

После громкого «ура», эхом прокатившегося по темным тоннелям, мы выстроились и двинулись по тоннелям вокруг форта с песнями и музыкой. Поднялись на бойницы. Впереди шел струнный оркестр, за ним дядя Ваня с красным флагом.

Был прекрасный день. Дул теплый ветер. Светило солнце. С лугов веял аромат, а из тоннелей крепости шел тяжелый запах гнили. Когда поднимались на вершину форта, все молчали. На одной из площадок земляной насыпи наша колонна остановилась.

— Товарищи! — крикнул Иванов. — Почтим в день Первого мая память товарищей, расстрелянных генералом Рампоном прошлый год здесь на плацу.

Красное знамя склонилось, опустились обнаженные головы. Дядя Ваня крепко сжимал древко с красным знаменем. Смотрел прямо перед собой, нахмурив густые брови. Кудинов прослезился, две капельки скатились по его щекам и повисли на усах. Отвернувшись в сторону, он вынул платочек и вытер глаза.

В далекие просторы полей мчался похоронный гимн. Плакали струны скрипок и мандолин.

Из ближайшей деревни, расположенной у подножья крепости, шли крестьяне. На дороге останавливались пешеходы. Они приближались к обводному каналу. Девушки, жен-

щины и дети приветствовали нас платочками, бросали цветы... А над фортом все громче звучал похоронный гимн.

Кто-то из них крикнул:

— Да здравствуют русские товарищи!

Дядя Ваня вздрогнул, поднял красный флаг над головой и ответил:

— Да здравствуют французские товарищи!

Оркестр заиграл марсельезу. Мы и французы эту песню подхватили в один голос.

Встревоженный комендант выгнал весь конвой из караульного помещения. Солдаты высыпали на улицу и спешно начали готовить, по приказу коменданта, пулеметы против нас, но стрелять они и не собирались.

Не прошло и тридцати минут, как на дороге заклубилась пыль. С треском прикатили грузовики, наполненные жандармами. Пошли в ход дубинки, раздался залп. Над головами просвистели пули. Но мы не дрогнули, оставались на месте и пели «Интернационал», а внизу, на площади, жандармы избивали французов, которые пришли праздновать Первое мая вместе с нами. Один упал от удара резиновой палки, другой, молодой парень, бросил камень в жандарма, а сам кинулся в кусты.

Расправившись с крестьянами, жандармы ворвались в крепость, ринулись по крутой насыпи к нам. Закипело сердце, — я выступил вперед навстречу жандармам, вцепился руками в поднятую вверх дубинку. Ко мне подскочил Паша, ударил кулаком в грудь жандарма, а я вырвал дубинку и бросил ее в канаву.

— Товарищи, не сдадимся! — крикнул Паша.

Живой и неподступной стеной стояли люди, тяжело дыша, не двигались с места. Над нашими головами шуршал красный флаг. Дядя Ваня поднял его высоко, высоко, чтобы видели все — русские и французы. Чтобы видела вся Франция.

Остервеневшие жандармы открыли стрельбу, бесжалостно избивали дубинками и наганами попавших им в руки наших товарищей.

Наши ряды расстроились, не в силах удержать натиска вооруженных жандармов, — мы отступили.

Загнали нас снова в холодные тоннели. Позади всех отступал дядя Ваня с красным знаменем. Он сорвал его с древка и, размахивая рукой, последним опустился в тоннель.

После первомайских событий временно прекратилась вылазка из форта. Мы были возмущены зверской расправой жандармерии. Лагерный комитет написал протест командующему Лангрским округом генералу Рампону. Ответа не было, и положение не изменилось. Комендант днем и ночью проверял посты. Солдаты боялись ходить в форт. Вылазки мы совершали только тогда, когда на посту стояли Рони или Генрих, и то в ограниченном количестве.

После вторичного отказа коменданта, — забрать от нас шаргуновцев, — лагерный комитет постановил: ввести постоянное наблюдение за ними, не выпускать ни одного из форта.

Будучи сами наказанными, мы не могли дать шаргуновцам иного наказания. Только среди нас с каждым днем возрастала ненависть к предателям. Быстро назревал конфликт. Казалось, довольно подать один сигнал, — и все бросятся с кипучей злобой на предателей.

Лагерный комитет, в особенности Иванов, не допускали до открытого столкновения, от которого могли быть тяжелые последствия. Да и сам Шаргунов стал бояться, — без дела он не высовывал носа из комнаты. Лишь иногда я встречался с ним на кухне при раздаче обедов. Высокий, плотный в корпусе, с черной бородой, покрывающей широкое лицо, и с густыми бровями, постоянно сдвинутыми у переносицы, под которыми бегали пронырливые глаза, Шаргунов брал свои порции супа волосатыми руками, круто поворачивался и уходил.

— Иуда! — кричали ему вслед.

Шаргунов поворачивал голову, бросал ядовитый взгляд на крикуна и, не отвечая, шел дальше.

— Ишь посмотрел, что яблочко подарил! — отвечали на его взгляд. — Бычачья морда!..

Через две недели после Первого мая, в одно из воскресений, Паша и я решили сделать вылазку. На посту стоял Генрих. Паша крикнул ему по-французски:

— Гена, пусти прогуляться!

Генрих посмотрел на нас, потом в сторону комендантской квартиры и, убедившись в безопасности, кивнул головой. Мы опустились в канаву и мигом оказались на противоположной стороне, вылезли недалеко от Генриха. Чтобы не подвести его, мы, согнувшись, быстро исчезли в кустарнике, а дальше кубарем скатились с крутого обрыва горы вниз на поляну.

Местечко Нюи от форта было в трех километрах. Да-

же сверху, от наблюдательной башни, Нюи трудно рассмотреть. Оно раскинулось в низине, и все дома тонули в зеленых садах. Кой-где сквозь ветви прорывались красные крыши черепицы, но и они сливались с дубовыми листьями и все это было похоже на огромный букет цветов.

Рядом с местечком проходило железнодорожное полотно от города Лангр к швейцарской границе. Параллельно с железной дорогой тянулось шоссе, окаймленное тополями, словно цепью гигантских воинов, выстроившихся в стройный ряд. Под Нюи, отделяясь от железной дороги, шоссе врезалось в местечко и рассекало его на две части.

Пройдя железнодорожное полотно, Паша и я повернули влево. Оставляя дорогу с правой стороны, мы направились узенькой тропкой, задворками, в местечко. Вскоре остановились у изгороди перед небольшой калиткой, которая вела в густой вишневый сад.

Паша открыл калитку и мы вошли в сад. Сквозь ветви деревьев виднелась красная черепица домика, в котором жила Нелли.

Звякнула железная цепь, густым басом загавкал дворовый пес. Послышался женский голос.

— Боби, Боби!.. А-а... Это вы встревожили моего Боби! — весело воскликнула Нелли, когда мы вышли из кустов. — Кушь, Боби!

Нелли пригрозила ему пальчиком. Косматый Боби покосился на нее, бросив сердитый взгляд на нас и, недовольный на свою хозяйку, улегся возле будки.

— Пожалуйте в мой дом! — по-русски пригласила нас Нелли.

Нелли была учительницей местечка Нюи. Вот уже пять месяцев, как Костров Паша познакомился с ней. Он ежедневно через нее доставал сведения, что делается за пределами форта. Нелли снабжала его в изобилии газетами и разной литературой. Она всячески помогала нам. Осторожно объясняла детям в школе, что русские не звери, а хорошие друзья.

Перед вечером мы вышли из комнаты вместе с Нелли и сели на скамейку среди густых ветвей зрелой вишни. У меня слегка кружилась голова. У Паши сильно порозовели щеки. Нелли нас угостила вишневым вином и от нее мы вышли в веселом настроении.

Нелли еще в комнате начала разговор о русских и кончила его, когда мы сели на скамейку.

— Нелли, я не могу поверить этому. Не может быть,

что это делают наши?.. — продолжал Паша начатый разговор.

— Чем ты можешь доказать, что не ваши? — отвечает мягкий приятный голосок Нелли.

— А тем, Нелли, что в лагере Шанлю с нами была такая же история, но мы сумели доказать на деле и оправдать свое доверие, а ведь нас там было в четыре раза больше, чем здесь.

— И жили там мы свободно, — добавил я.

Нелли подняла голову. Из-под черных ресниц выглянули глубокие, вдумчивые, черные глаза.

Разговор, который мы вели с Нелли, был о том, что в местечке Нюи появились кражи. На-днях, якобы, русские ночью напали на одну женщину, раздели, изнасиловали ее. Лангрская газета подняла тревогу с нападками на русских. В одном из ее номеров была помещена заметка под заголовком: «Красные воры из де-Плесноу».

Газета обращалась к населению быть настороже, и даже намекала на то, чтобы крестьяне гнали русских из деревень. Требовала от правительства принятия мер против самовольной вылазки пленных из крепости.

— Чем же вы можете здесь доказать, что это делают не ваши? — вполголоса заговорила Нелли. — Как и чем вы оправдаете свое доверие?

— Мы способны на все, даже пойти на жертву, но только...

— Храбрости вашей я верю. Вы уже доказали свое геройство под стенами форта, прошлый год и нынче в день Первого мая. Теперь каждый француз, не только в Нюи, но и во всей окружности, знает о вашем подвиге, который вы совершили. Даже деревенская молодежь песни поет о загоне вас в форт. Но ведь эта борьба за жизнь, за существование, а сейчас требуется заслужить вам доверие от населения не борьбой, не геройскими подвигами, а морально воздействовать на них и доказать, что вы не дикари, а люди с открытой, чистой и честной душой. В этом отношении я могла бы помочь вам и очень во многом...

Нелли на полуслове прервала разговор, к чему-то прислушиваясь. Я заметил на ее смуглом лице тревогу. Темные глаза на минуту потускнели. Вот она быстро повернулась и ее глаза вновь засветились. Нелли посмотрела на Пашу, потом на меня. Костров сделал полуоборот к Нелли, взглянул ей прямо в глаза:

— Что же мешает тебе помочь нам? — спросил Паша.

— Нелли, ведь никто не знает, что вы помогаете нам, — опасаться нечего, — сказал я.

Нелли посмотрела на меня и я заметил, что ее глаза опять блеснули. Она с тревогой оглянулась.

Зеленые ветви деревьев низко склонялись над нами. Сквозь их густые листья слабо проникало заходящее солнце. Веяло вечерней прохладой. Далеко с улицы доносилось мычание коров и стук колес проезжавшей подводы. После некоторого молчания Нелли машинально подняла голову, положила одну руку на плечо Паше, другую мне, опасаясь как бы кто не подслушал, заговорила шопотом:

— Слушайте, я также не верю, что кражей занимаются русские. Это дело рук местных ваших врагов, они под вашу руку совершают гнусное преступление лишь для того, чтобы оклеветать вас, создать ненависть и вражду с населением. Я много думала, не спала ночи. На днях видела Генриха. Надежный товарищ. Поэтому говорила с ним откровенно о своих замыслах. И повторяю: если это удастся, то мы сделаем великое дело.

Нелли на минуту остановилась, перевела дух и продолжала:

— Вот что я придумала: подговорить своих товарищей по классу пойти к кюре, добиться у него разрешения того, чтобы в ближайшее воскресение провести школьных детей к вам в форт. Работа не легкая, как видите, лишь бы этого добиться, а в форту вы встретить детей сумеете.

— Великолепно! — воскликнули мы.

— Тс-с... нас могут подслушать! — произнесла Нелли. — До поры до времени наш план надо держать в тайне. Кюре не догадается о нашем замысле. Мы будем проситься просто на экскурсию. А мне, я считаю, не следует показываться с вами на улице вовсе. Эта неосторожность может создать неприятности и разрушить наш план.

— Прекрасно, Нелли! Прекрасно! — почти разом ответили мы. — Идея чудесная, а уж мы сумеем встретить так, что дети расскажут своим родителям о русских друзьях много хорошего.

— А теперь, — вставая сказала Нелли, — прощайте. Возьмите газеты и идите через заднюю калитку к озеру. Там выйдите на дорогу. Результаты я сообщу...

Мы встали. Нелли улыбаясь подала нам свою руку.

— Спокойной ночи, — сказала она.

Паша и я быстро и бесшумно скользнули в густую заросль малинника и исчезли.

Через два дня после разговора с Нелли Генрих как-то сунул записку Паше. Это было во время танцев. Костров позвал меня, подмигивая левым глазом, показал записку.

— Ну, Лизутка, готовь свои туалеты. Будешь веселить детей.

— Как, уже? — радостно воскликнул я.

— Читай.

Паша подал мне записку, в которой было написано несколько слов. Но как они были дороги для меня, какую радость зажгли в сердце. Нелли писала: «Камрад Костров, передай всем своим... В будущее воскресение к вам в форт придут дети из школы местечка Нюи».

— Хорошо! — крикнул я и схватил Пашу за руку. — Идем, чорт возьми, искать Иванова!..

Мы оба бегом выскочили из зала. В одну секунду перебежали двор. Иванов, уже раздетый, лежал на койке и читал книгу. Я бросился к нему и сунул записку в руки. Книга вылетела и покатилась под койку.

— Да что ты с ума спятил, что ли?..

— Читай, читай вслух!

— Да что читай, сумасшедший?..

— Записку читай!..

Глаза Иванова быстро замигали, потом широко открылись, как бы не веря тому, что они видят.

— Да неужели?! Дети придут к нам в гости?! В ближайшее воскресение... Когда же это?..

— Вот уж ты-то с ума сошел, а еще меня называл сумасшедшим...

— Постой! Что же сегодня?.. То есть, какой день?..

— Посчитай на пальцах, — засмеялся Паша.

— Да вы... то есть, чорт возьми, я и счет дням потерял.

— Да ну, ну... Скорей припоминай...

— Среда!

— Вот она и есть.

— Четверг, пятница, суббота, — на пальцах пересчитывал Иванов: — три дня... Через три дня у нас будут дети. Надо встретить. Встретить так, чтобы в их памяти навеки остались мы, узники застенков. Сейчас созовем собрание. Пусть знают все. — Иванов схватил брюки, торопливо оделся. Руки у него дрожали от радости.

— Куда сейчас!.. — крикнули мы. — Все люди спят давно. Только молодежь одна на танцах. Уж лучше с утра пораньше...

— А почему вы мне не сказали утром... Какой сон теперь, не до сна мне...

— Ладно, Петр Иванович. Не волнуйтесь. Время хватит. Приготовиться успеем, а записку мы только сейчас получили.

— Да уж так и быть, — промолвил Иванов, — не буду тревожить людей. Однако мне не спать эту ночь.

— Успокойся и спи. Утро дает здоровые мысли. Ну, спокойной ночи!..

Мы так же быстро ушли, как неожиданно появились; оставили Иванова в той же позе — сидящим на койке с запиской в руках.

Ночью с субботы на воскресение я спал плохо. Думал как лучше встретить детей, угостить их и отправить домой радостными и веселыми. Пусть они расскажут своим родителям о нас, «бандитах».

«Великое дело, — думал я, — и все Нелли, — она поработала много, слишком много для нас».

Лишь только молочный свет утра разлился по двору, а в комнате стоял еще сумрак, — я встал, спешно оделся и вышел на двор. Клочек темноголубого неба висел над каменной коробкой форта. День предвещал быть хорошим и теплым.

В соседней комнате помещался Кудинов. Я открыл дверь и прошел к его койке. Кудинов еще спал, из груди вырывалось протяжное и глубокое дыхание, черные усы поднимались и опускались, нижняя губа то-и-дело вздрагивала. Широкая кисть правой руки лежала на обнаженной груди, покрытой густыми черными волосами.

Я взял за руку.

— Николай Иванович... вставайте.

Густые брови дрогнули, веки приоткрылись, из-под них вынырнули темные глаза.

— Вставайте. Надо вам доделать кольца, потом заправить все лампы. Карбидовые отремонтируйте...

— Разве утро? — удивился Кудинов. — Вот так фунт изюма... Здорово спал! Я думал встать досвету. Дел сегодня по горло... — Кудинов быстро стал одеваться. — Хорошо... Я все сделаю ко времени.

В следующей комнате я разбудил Быкова, велел ему идти в театр, а сам по дороге зашел в кухню и не мало удивился, когда увидел Горячева. В своей комнате я и не посмотрел на его койку. Оказывается, он встал раньше моего.

— Видишь? — улыбнувшись, проговорил Горячев. — Без весов-то плохо, — не угадаешь, поровну ли...

Я взглянул на стол и увидел монпансье, разложенное на несколько ровных кучек.

— Ничего, Дема. Думаю, не подерутся... Когда это ты успел уже и кулечков наделать?

Горячев приподнял брови. На темножелтом лбу сбежались складки.

— По-вашему, думаешь, спать до полдня?..

— Но ведь еще солнце не взошло...

— Я рассчитал всю работу и только-только к вечеру сумею закончить. А вы как с декорацией?..

— Разбудил кого надо. Сейчас пойдем сделаем.

Зрительный зал в полуподвальном помещении бывшего военного склада сегодня был освещен, как никогда, ярко. Кудинов на этот раз постарался... На двух гигантских каменных колоннах посредине зала, подпирающих своды круглого потолка, пылали карбидовые лампы. Кроме них по стенам были развешены до десяти керосиновых ламп-фонарей. В левой половине зала размещалась сцена и места для зрителей. Правая служила для танцев и была постоянно свободной. Однако в этот вечер и правую сторону мы заставили скудной мебелью. Посредине стоял длинный стол, накрытый белыми простынями; по бокам — скамейки.

Горячев, с засученными по локоть рукавами, в чистом белом фартуке, старательно раскладывал кульки, коробочки. По нескольку раз переставлял их с места на место. На столе стояли порожние стаканы, тарелки, котелки.

Когда стол весь был занят и каждый предмет стоял на своем месте, Горячев вытер с лица пот полотенцем, еще раз внимательно посмотрел на свой труд и грузно опустился на скамейку. Его широкое смуглое лицо выражало усталость. Он полузакрыл глаза. В эту минуту лицо его изобличало слишком много поработавшего человека.

Три дня тому назад, когда на общем собрании обсуждался вопрос о встрече детей, Горячев был выбран заведывающим хозяйственной частью; в его обязанности входило приготовить угощение и подарки. Люди не ошиблись, выбрав его на эту должность. Горячев не спал ночи, с утра до вечера хлопотал по хозяйству. Хотя дядя Ваня и косился на него, претендовавши на эту должность, но потом смирился.

К счастью для нас на днях были присланы международным Красным крестом подарки: монпансье и незначительное количество шоколада да несколько килограммов жевательного табака. На общем собрании люди постановили: табак разделить, а монпансье и шоколад оставить для подарков детям. И вот он, Горячев, целый день тщательно раскладывал монпансье на сто равных кулечков и в каждый из них положил по кусочку шоколаду. Однако это не все: согласно постановлению общего собрания, наша кухня приготовила ужин, состоявший из сладкой рисовой каши и кофе. Это все также лежало на обязанности Горячева, — надо было приготовить сто равных порций и для каждой из них — кусочек хлеба и одну галету.

Неугомонный Горячев не ограничился и этим. Он еще три дня тому назад заказал колечникам сделать сто алюминиевых детских колец, несколько кукол и разных игрушек. Все заказы Горячева были выполнены честно, хорошо и в срок. Кольца лежали в коробочках, куклы и вырезанные птички в ящичке. И лишь только теперь, на четвертый день вечером, опускаясь на скамейку, Горячев почувствовал усталость во всем теле. Нето от радости, нето от переутомления его руки и ноги дрожали. Однако глаза, несмотря на долгую бессонницу, блестели гордо и радостно. В голосе звучала деловитая распорядительность. Люди внимательно слушали его, быстро выполняли все, что только он поручал делать.

— Отдыхаешь, Дема? — крикнул я, проходя мимо Горячева.

— Отдыхаю и ожидаю. Кажется у меня все готово?

Мельком я бросил взгляд на убранство стола и ответил:

— Великолепно! Чудесно, Дема! Ты настоящий буфетчик...

— А сколько я тут труда положил!..

— Знаю, Дема, знаю. Другой бы этого не сумел сделать.

— То-то и оно... Не каждый сумел бы, — с некоторой гордостью заявил Горячев.

— А что, Дема, для раздачи-то тебе помощника не дать ли. А?

— Что ты, что ты! — замахал руками Горячев—Сколько хлопот положил, а раздавать будет кто-то. Нет уж, я сам.

— Ну, как хочешь, Дема, я ведь просто так, чтобы облегчить тебя. А мы, видишь, что натворили?.. — Я показал на сверток бумаги.—Сейчас развесим над сценой. Пусть читают...

Денисов и дядя Ваня по-французски написали лозунги. На одном было: «Да здравствует французский маленький товарищ!», на втором значилось: «Мы встречаем вас как родных детей».

— Хорошо? — спросил я Горячева.

Горячев улыбнулся.

Я повесил эти лозунги и портрет Ленина, срисованный Москаленко с фото газеты «Юманите», над сценой, на самом видном месте.

В это время двери в зал широко распахнулись. Один за другим с инструментами вошли музыканты, за ними хор. Зал постепенно наполнился звуками настраиваемых струн. Хор спевался. «Актеры» гримировались. Вдруг дверь снова с грохотом распахнулась. Раскрасневшись и запыхавшись в зал влетел Костров.

— Идут! Идут! — на ходу крикнул он.

— Где? Далеко? — встрепенулся Горячев.

— Нет, вот здесь! Поднимаются в гору! Все ли готово у вас?..

Увидав Денисова, Костров бросился к нему.

— Митя, ты уж здесь, — подготовь встречу!.. Я побегу туда!..

— Ладно, ладно, иди. Только не подканфузь себя перед Нелли... — лукаво подмигнув, ответил Денисов.

— Нелли! Причем тут Нелли? — обиделся Паша и быстро исчез за дверью.

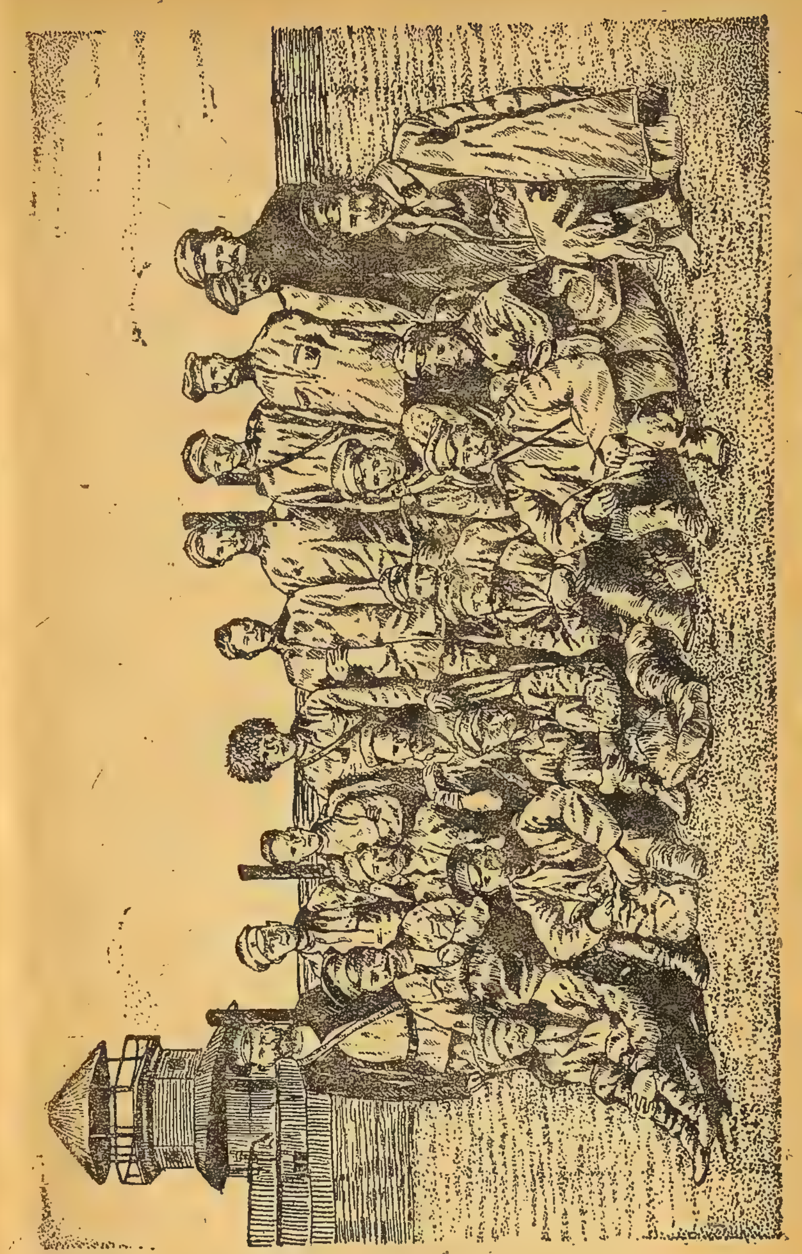
Я поспешил в комнату Иванова. Там должна собраться делегация. Согласно постановлению собрания, у первой тоннели офицерского двора детей встречает делегация из пятнадцати человек русских во главе с Ивановым и Костровым. Делегаты должны провести детей через тоннель в наш двор. Там дети разбиваются на несколько групп и разойдутся по комнатам.

Потом они все пойдут в театр.

На мою долю досталось десять учеников. Я провел их в свою комнату, показал, как мы живем, и после короткой беседы повел в театр.

Дрогнул воздух. Громкие звуки марша вырвались из открытых дверей зрительного зала и разнеслись по черным тоннелям форта. Дети с неописуемым восторгом и радостью, по-двое в ряд, входили в хорошо освещенный полуподвал нашего театра.

Красный от возбуждения, дрожащей рукой Горячев вручал каждому ребенку подарки. Раздача длилась больше



В лагере Бранденбург, где 2000 человек умерло от голода и тифа.

получаса. Под удары музыки, рассекающей тяжелый воздух подземелья, я рассаживал детей на первые скамейки.

Зал наполнился многоголосным серебряным детским лепетом.

Встреча французских детей под сводом крепости вылилась в трогательно-драматический эпизод. Многие русские, вытирая слезы рукавом рубахи, плакали. Они вспомнили Россию, жен, своих детей, оставленных на произвол судьбы.

Дети чувствовали всю нашу теплоту, нашу родительскую заботливость к ним, — были веселы, радостны. Полные доверия к нам, они забыли о том, как кюре наказывал не ходить к русским, бояться их, — они смело садились на колени к бородачам и смеясь щипали им бороды.

После первого отделения художественной части детям выдали ужин. Сытые и довольные окружающей обстановкой, дети разговаривали с русскими как могли.

Во втором действии шел концерт: выступали хор и отдельные певцы, клоуны, лучшие плясуны; изображали французского кюре, который с молитвенником в руках читал проповедь о большевиках. Дети смеялись вместе с нами.

Один мальчик поднял руку, показал на портрет и сказал товарищу:

— Ленин.

Сосед кивнул головой.

Пока шел концерт, в примировочной комнате небольшая группа русских беседовала с Нелли. Она рассказала, каких больших трудов ей стоило уговорить кюре, чтобы вывести школу на экскурсию в форт.

— Он сказал, — продолжала Нелли, — чтобы дети без французских солдат по форту не ходили, ато, говорит, русские могут испугать детей. Так и детям сказал.

Громкий смех вырвался из примировочной.

— А мы напугали детей, что они завтра напугают кюре, — ответил я, поправляя свой туалет, и новый взрыв смеха вырвался из комнаты.

— Как бы он с ума не сошел. Жаль беднягу. Как-то теперь будет он читать страшную проповедь о нас, — смеялся Денисов, наряженный кюре.

— Неправда ли, Нелли, что мы способны на все, только не воровать? Я тебе говорил уже об этом... — с некоторым возбуждением сказал Паша.

Денисов, взглянув на меня, подмигнул. Нелли посмотре-

ла на Пашу и легкая краска выступила на ее смуглом лице. Она ему не ответила.

Немного погодя Нелли снова заговорила:

— Есть слухи, что будто бы хотят сменить конвоиров.

— Это так водится. В каждом лагере меняют караул по нескольку раз, однако солдаты скоро привыкают к нам и живут мирно и дружно, — вставая, ответил Иванов и под его рыжеватыми усами плотно сжались тоненькие губы.

— А все же будет жаль Генриха и Рони. Хорошие ребята, — заметил Денисов. — Много помогали нам...

— Их жаль, но ведь таких Генрихов и Рони — тысячи. Не правда ли, Нелли? — ответил улыбнувшись Иванов.

— Да. Их много, не только в войсках, но...

— Но и среди вас, — добавил Иванов.

Нелли улыбнулась.

— Я тоже помогаю вам...

— Спасибо, товарищ Нелли. Вы для нас сделали слишком много. Не знаю как отблагодарить.

— Все что я сделала, — это для общей пользы, нашей и вашей. Мне жаль вас... — с серьезностью в голосе произнесла Нелли. — Чем больше солидарности, тем крепче союз, тем сильнее наш фронт, — добавила она и встала. Ее строгие, но прекрасные черты лица внушали уважение и любовь. В это время закрылся занавес, в зале послышались громкие аплодисменты.

— Кончилось, — проговорил Паша и взглянул на Нелли, — он как будто этим хотел добавить: «так скоро?..»

— Пора идти. Прощайте, товарищи! А тебе... — обратилась она к Паше, — до свиданья. За газетами придешь?..

— Приду, обязательно, — бормотал Паша, крепко пожимая руку Нелли.

Дети вместе с русскими выходили во двор. Один смельчак сидел на плече Кудинова и весело смеялся.

При выходе из форта дети подавали свои маленькие ручки, прощаясь с нами.

— До свидания! Спокойной ночи, русские! — кричали дети.

Мы проводили детей до последнего тоннеля. Музыка следом играла марш.

— Да здравствует маленький французский товарищ! Ура! — крикнул Денисов.

Громкое «ура» прокатилось по тоннелям.

— Да здравствует русский, — отвечали дети, скрываясь за железными воротами.

Ворота закрылись. Снова остались черные стены, темные и холодные тоннели крепости де-Плесноу.

Далеко, далеко прокатились вести о посещении детьми форта. Возрастала любовь, крепла дружба населения с русскими. Метали громы и молнии наши враги. С тревогой следило за событиями в де-Плесноу Лангрское командование. Оно вырабатывало новые планы призвать к порядку русских. И скоро их привело в действие.

XIX

Прошло десять месяцев с тех пор, как нас загнали в форт. Самовольная вылазка и связь с крестьянами ближайших деревень не на шутку встревожила генерала Рампон. Тем более, что мы не подчинялись деревенским властям, гуляли свободно, пели революционные песни. К нам присоединялись французские ребята, даже находились смельчаки, — вместе с нами ночью шли в форт и жили по два-три дня. Конвоиры, охранявшие нас, все свое свободное время проводили в форту вместе с нами.

Был однажды такой случай в местечке Нюи. Костров, Иванов и я собрали группу крестьян и открыто начали агитировать их против существующих порядков и власти. Местная жандармерия, разогнав крестьян, пыталась арестовать нас. Но в это время проходили мимо наши конвойные, заметили и не дали нас арестовать. Жандармам они заявили, что уведут нас в форт и посадят под арест. А Генрих даже толкнул Иванова с тем, чтобы показать вид строгости перед жандармами, которые, поверив солдатам, отпустили нас.

Не прошли мы и четверти километра от Нюи, — солдаты стали друзьями. Посоветовали в Нюи не возвращаться, а идти в другую деревню. По дороге мы долго смеялись над этой проделкой солдат. А один из них крикнул:

— Русский, гуляй! Мы вас не арестуем!

И мы гуляли... Но генерал Рампон затевал другое. К нему сыпались жалобы от сельской буржуазии о «разгуле» русских. И Рампон принял меры. В июле месяце сменили конвоиров, их место заняли жандармы. В воротах и на четырех углах крепости были поставлены посты. Наши вылазки прекратились. Даже выходить на форт и петь песни жандармы не разрешали. Питание резко ухудшалось. Хлеб начали выдавать из кукурузной муки. Мясо и консер-

вы заменили рыбой, а потом и ее перестали давать. Театром и танцами люди уже не интересовались, и вся жизнь постепенно замирала.

Лагерный комитет написал письмо генералу, — ответа не было. Писали в Париж, — не ответили. Надвигался страшный враг: — голод.

По инициативе Иванова лагерный комитет вынес на общее собрание свое решение: в знак протеста против такого отношения к военнопленным объявить голодовку.

В этот же вечер в помещении театра собрались все узники крепости. Даже больной Попов, который не выходил никогда из комнаты, пришел послушать. Члены лагерного комитета разместились с трех сторон стола посредине сцены. Мутный свет керосиновых ламп слабо освещал их угрюмые лица. После некоторого молчания Иванов выступил первым и обрисовал положение.

Наступила мертвая тишина. Люди, уже знавшие, зачем их собрали, сидели молча, стиснув зубы, тяжело дыша, смотрели на Иванова.

И в этой мертвой тишине ночи в каменном подвале точно удары молота звучали слова Иванова.

— Положение наше день за днем ухудшается, вместо той раскладки на продукты за подписью генерала мы теперь и половины не получаем. Мяса, крупы не выдают. Голод начинает с каждой минутой возрастать. Сегодня комендант заявил, что с завтрашнего дня будет выдавать хлеба только по пятьсот грамм на человека. Буржуазия не сумевшая натравить крестьянство против нас, решила отомстить по-своему, — постепенно заморить нас голодом. Вот уже пятнадцать дней караул солдат заменен жандармерией. Не только кругом форта, но и в средине переднего двора стоят посты. Мы теперь не имеем права пользоваться всей внутренностью крепости. Никакой связи с крестьянством не имеем. Товарищи, мы помним: прошлый год, когда загоняли в форт, генерал Рампон нам заявлял, что он будет родным отцом. А что же сегодня этот бездушный отец пишет своим сыновьям? Вот его письмо, переданное через коменданта сегодня утром: «Русские, кто желает работать во Франции или добровольно записаться в легионы, может в любое время выйти из форта. Для работающих предоставляем хорошее жилье и свободу; снабжаем одеждой; питание — по режиму «А». Записавшиеся в легионы немедленно будут отправлены в Россию.»

— Товарищи, иного выхода мы не имеем! — в заклю-

чение сказал Иванов. — Наш единственный путь борьбы — объявить голодовку!

Настал момент напряженных раздумий. И после коротких прений вопрос был поставлен на голосование. Сотни рук вытянулись вверх. Люди решали судьбу своей жизни. Будущность для них неизвестна, — может быть после голодовки не один из них выйдет из строя, не выдержит... Однако в настоящую минуту никто об этом не думал. В долголетних мытарствах на чужбине люди начали сознавать, что организованность — есть лучший метод борьбы.

Итак, решили объявить голодовку. Написали свое требование, отправили к коменданту и поздно ночью разошлись по сырым комнатам.

Наступило утро. Красное солнце осветило башни и заискрилось на плитах форта. Низко кружились над фортом острокрылые ласточки. Под карнизами окон ворковали голуби. Время от времени они вылетали, садились на каменные плиты у дверей кухни и ждали когда откроется дверь, выйдет повар и бросит крошки хлеба или посыплет крупы. Фортовые голуби свыклись с людьми, их гнезда охранялись. Но на этот раз голуби не дождались повара. Крепкий замок висел на дверях кухни. Не дымилась труба. Форт молчал.

Медленно тянулся первый день голодовки. Люди собирались кучками, тихо беседовали в темных углах своих комнат.

— Как ты думаешь, сколько дней продлится голодовка? — спросил я Пашу.

— А кто знает? Дня три, я полагаю...

— А если больше?..

— Ну и что же, лягу вот так и буду ждать смерти. Однако, чорт возьми, еще не хочется умирать! — воскликнул Паша.

— Да, Паша, только бы вырваться живыми из этой пропасти, домой вырваться!.. Знаешь, я думаю в первый же день, как приеду в Советскую Россию, поступить в Красную армию...

— Ты думаешь нас как пленных возьмут в Красную армию?

— Если не возьмут в Красную армию, то я сам пойду. Дома мне делать нечего. Один я...

— Рано умирать собираетесь, — с ласковой улыбкой

сказал подошедший к нам Иванов. — Один денек не поели и уже о смерти заговорили.

— Да нет, товарищ Иванов, — стыдливо отвечаем мы, — мы просто так...

— Ладно, ладно, я в шутку, — опускаясь на койку, ответил Иванов.

Его бледные губы старались улыбаться, однако в лице, заросшем рыжей бородой, скрывалась мучительная тревога. Он не думал о том, что его желудок пустеет, силы слабеют. Нет. Он беспокоился за всех людей форта больше, чем о себе.

— Плохо, ребята, что о нашей голодовке никто не знает. Другое дело, когда были солдаты, — они бы помогли нам... А теперь при жандармском карауле и носа не высунешь. У них хватит наглости не только заморить голодом нас, но и пристрелить. Если бы нам удалось как-нибудь сообщить крестьянам или хотя одной Нелли... — Иванов взглянул на Пашу... — и передать письмо в «Юманите». Я об этом вот уже сутки ломаю голову и придумал только одно средство...

— Передачи письма? — спросил Паша.

— Да, передачи письма.

— Но как же, Петр Иванович, можно передать? Разве пустить по ветру с вершины форта, только...

— Нет, не по ветру, а командировать человека.

— Человека? — удивились мы.

— Да ведь это равносильно тому, что посланный умрет не голодной смертью, а от жандармской пули. И во-первых, кто же согласится пойти на такой риск?

— Риск опасный, но ведь и под лежачий камень вода не потечет. Надо бороться самим. Человека я уже нашел...

Глаза Иванова упали на Пашу. Паша прочел мысль Иванова, помолчал секунду и твердо сказал.

— Хорошо. Я пойду. Как бы это ни было трудно, а свой долг исполню. Для меня дороже жизнь пятисот человек, чем своя.

— Паша, я не желаю тебя бросать в жертву. Нет! Ты должен вернуться живым. Только передай письмо Нелли. Она надежный товарищ. Когда будут знать крестьяне о нашей голодовке, когда на страницах газеты «Юманите» появятся эти строки, буржуазия побоится и не осмелится нас заморить голодом в этой проклятой тюрьме.

— Я сделаю все, что в моих силах... — с уверенностью в голосе сказал Паша. Иванов крепко пожал ему руку.

— А ты не унывай, — обратился ко мне Иванов.
— Я, ничего. Ремень еще держится.

Как только спустилась ночь и черной тенью легла во дворе, Паша и я вышли в темный тоннель. Сырой и холодный воняющий плесенью воздух ударил в нос.

Не зажигая огня, по уже знакомому пути фортовых подвалов ощупью добрались мы до площадки, где в стенке виднелось черным пятном небольшое оконце.

— Ну, прощай! — шопотом сказал Паша.

Точно братья родные мы бросились в объятия друг к другу и поцеловались. Я почувствовал, что Паша нервно дрожит. Его глаза блестели. Последнее рукопожатие, — и Паша уже был по ту сторону окна.

— Паша, не вылезай по стене. Спускайся лучше по отливному каналу! — крикнул я ему вслед.

Медленно и долго я брел обратно по темным тоннелям. Под ногами то-и-дело попадались камни, какие-то бугры. Ноги через силу плелись, голова кружилась. Силы слабели, к горлу подступала рвота. Только сейчас, за весь день, я почувствовал голод. С трудом я выбрался в сквозной тоннель. Жадно всасывая свежий воздух ночи, опустился беспомощно на камень. В голове шумело, словно в паровом котле. «Неужели я так ослаб от голода за одни сутки? — подумал я. — Не может быть!»

Только что хотел приподняться с камня, как вдруг впереди послышались глухие шаги. Я быстро сел, прижавшись спиной к стенке. Шаги приближались, — кто-то спешил из форта. Потом мимо меня проскользнули четыре фигуры. «Кто это? — подумал я. — Жандармы?»

Из-за любопытства я последовал за ними. Вскоре таинственные шаги замолкли на переднем офицерском дворе. Раздался легкий стук в двери, последовал негромкий оклик, щелкнул ключ, двери со скрипом приоткрылись. Снова чей-то короткий оклик, — и потом последовал ответ на ломаном французском языке. Я вздрогнул. Голос мне показался знакомым. Неужели Шаргунов? Желая убедиться, что будет дальше, я спрятался за выступом угла. Не прошло и десяти минут, — двери снова открылись, кто-то пропустил людей и вновь закрыл дверь. Щелкнул замок. Те же шаги возвращались обратно, однако на этот раз четыре фигуры несли что-то в мешках. Они быстро скользнули в тоннель. «Продукты!» — блеснуло у меня в мыслях. Не теряя ни

одной минуты, я поспешил за ними. Ощупью пробираясь вдоль стены, вышел на средний двор, но вскоре в густой темноте потерял их из виду. Откуда взялась сила!.. Я бросился в комнату Иванова, ощупью добрался до койки, схватил его за ноги.

— Кто это? — послышался сонный голос Иванова.

— Я. Это я! Товарищ Иванов! — взволнованно шептал я. — Встань. Я только что видел Шаргунова...

Иванов быстро сел на койке.

— Что видел?..

— Видел, как Шаргунов и с ним три человека несли продукты.

— Какие продукты, откуда?

В темноте послышался шорох. Люди с соседних коек приподнимали головы. Как я ни старался говорить тихо, однако они услышали мой голос. Я рассказал Иванову, как проводил Пашу и по возвращении оказался свидетелем гнусной проделки компании Шаргунова. В одно мгновение вся комната заговорила. Негодование людей возрастало.

— Товарищи, не волнуйтесь! — крикнул Иванов. — Сейчас мы составим комиссию и обследуем комнату Шаргунова.

Вскоре весь фортовой комитет был на ногах. Комиссия человек двадцать с фонарями в руках ввалилась в комнату Шаргунова.

Неожиданное появление комиссии встревожило шаргуновцев. Они сгрудились вокруг стола, на котором лежали буханки хлеба и несколько банок консервов. В комнате горел свет, окна были занавешены одеялами. Шаргуновцы, не предвидя никакой опасности, — делили продукты между собой.

Тельцов резал буханки финским ножом, и когда мы вошли, он быстро обернулся лицом к нам, сжал финку в правой руке, как бы готовясь первому из нас вонзить ее в грудь. Глаза его налились кровью. Лицо побледнело от лихорадочной злобы.

Иванов остановился против него и, полуобернувшись к комисси, сказал:

— Товарищи, хлеб заберем сейчас, а вопрос об этом разрешим завтра на общем собрании.

— Что-о, хлеб?.. — крикнул Тельцов, наступая на Иванова. — Не дам... Кто дотронется, — первому распорю живот.

— А ты, парень, убери финку в карман, — спокойно

ответил Иванов. — Забрать хлеб или нет, — это наше дело, тебя спрашивать не будем, — и добавил: — комнату надо обыскать. Что найдем из продуктов, заберем тоже.

Комиссия двинулась к столу, а некоторые товарищи бросились по койкам, обыскивать их.

— Ни с места!.. — рявкнул Тельцов и взмахнул финкой над головой Иванова.

Я рванулся вперед, и в тот момент, когда Тельцов готов был вонзить финку в голову Иванова, я ударил бутылкой по руке Тельцова. Финка вылетела. Тельцов, скривив губы, схватился за локоть. Кудинов и Денисов скрутили Тельцова, связали ему руки и уложили на койку. Выбиваясь, он скрежетал зубами, плевался.

Шаргунов, стоявший с нахмуренным лицом, опустился на койку и устремил тупые глаза в пол, стараясь не смотреть на происшедшее. Я подошел к нему.

— Давно же вы таскаетесь с нами, Тимофей Петрович, — проговорил я.

Шаргунов бросил на меня ядовитый взгляд и отвернул голову к стенке.

— Ваше место... — продолжал я, — там... за фортом. Нечего вам здесь мутить чистую воду грязными лапами!..

Плюнул я и отвернулся.

Товарищи тем временем обыскали комнату, забрали продукты и мы вышли от шаргуновцев.

Только что взошло серое утро в комнаты форта де-Плесноу. Все люди уже были на ногах. В комнатах — оживление: спорили и ругались. Все позабыли о голоде, с возбужденными лицами собирались в кучки, расходились и вновь группировались. Слабые лежали на койках с желто-бледными лицами, ругали шаргуновцев. В отдельных выкриках слышались слова:

— Предать их общественному суду!

Мало-по-малу комната опустела. Взволнованная негодованием и ненавистью к изменникам, голодная масса заполняла зрительный зал. В смутно освещенном помещении собрались люди. На сцене стоял Иванов, Денисов и Горячев. У них лица бледные, глаза блестящие. Перед ними на столе лежало несколько буханок хлеба, отобранных процлой ночью у шаргуновцев.

— Товарищи! — начал Иванов. — Мы объявили голодовку, жертвуя собой, хотим добиться улучшения нашей

жизни общими силами. И в это время нашлись среди нас люди, которые не подчинялись постановлению всей массы, изменили нам. Они ночью снабжались продуктами, имея связь с жандармерией!

Гнев ярости вскипел в сердцах голодных людей. Из зала вырвались злобные крики:

— Где они?! Давайте их сюда! На общий суд!

— Тише, — успокаивали бушевавшую массу Иванов и Денисов. — Тише, товарищи! Мы предлагали явиться им на собрание. Но, видите, они не пришли! Теперь остается одно: пойти к ним и попросить освободить комнату.

— Правильно! Пусть и духу их не будет здесь! Айда! Пошли, ребята! Довольно нянчиться!

Бурная и грозная масса с криком и шумом высыпала в тоннель и двинулась на второй двор.

Двери комнаты Шаргунова были полуоткрыты, в них стоял Тельцов. Заметив нас, Тельцов скрылся и вскоре появился опять с искаженным лицом. В его руках была кирка. Поведение Тельцова, вооруженного киркой, еще больше озлобило голодных людей. Они ринулись к двери.

— Долой! Долой из форта! Выходите сейчас же!.. — слышались голоса.

Тельцов поднял кирку и, отбиваясь ей, отступал в комнату. Масса напирала. В этот момент двери захлопнулись. Стукнул железный засов.

Озлобленные люди чем попало били в дверь, требовали открыть ее. Часть людей ворвалась в задний тоннель и плечами навалилась на вторую дверь, но она тоже не поддавалась. Вдруг кто-то крикнул:

— Бей окна! Ломай двери!

Появились кирки, железные прутья и ломы. Под напором толпы двери трещали. Зазвенели стекла в окнах. Со всех сторон градом посыпались камни. И через минуту в окнах уже не осталось ни одного стекла, только железные переплеты не поддавались ударам камней. Двери, издолбленные кирками, казалось, вот-вот рухнут и разъяренная масса ворвется в комнату и так же издолбит кирками шаргуновцев.

Наконец двери поддались. Живая, голодная, полная ненависти масса, давя друг друга, лавиной двинулась в комнату.

Но в это время с вершины форта прогремел выстрел. Услышав отчаянные крики людей, жандармы вышли на форт, посмотреть что происходит. И когда толпа ворвалась

в комнату, они открыли стрельбу в воздух и тем самым подняли тревогу всего караула.

И вот уже с офицерского двора, через первый тоннель, гремя сапогами, стуча затворами винтовок, неслись жандармы. Они на ходу заряжали ружья.

Но было уже поздно. Шаргуновцы были избиты до последней возможности. А сам Шаргунов и бандит Тельцов лежали мертвыми посреди комнаты. Тяжело дыша, с широко раскрытыми глазами, в которых пылала злоба и безграничная решимость, — медленно под ударами прикладов отступали мы к заднему тоннелю.

Разогнав нас по комнатам, жандармы закрыли все проходы в тоннели. Шагали по двору с заряженными ружьями наизготовку, не выпускали ни одного из нас, а у комнаты Шаргунова они выставили усиленный караул.

Одичавшие на минуту от злобы и ненависти к своим врагам, голодные, с бледными лицами люди, дрожа всем телом сидели в своих комнатах. В этот момент все забыли о голодовке. За все время пребывания во Франции Шаргунов со своей группой беспрерывно подтачивал организацию, предавал лучших товарищей. Из-за него погибли Чапов, Назаров, Соколов. Он виновен в преждевременной смерти Суркова, на которого по клевете Шаргунова нападал лейтенант, избивал его и издевался над ним.

Через час автомашина с красным крестом подобрала убитых и раненых.

Так кончил свое существование Шаргунов.

Кончались вторые сутки голодовки.

Вечером мы услышали грохот колес и конских копыт, доносившихся с переднего двора. Голодные, еще не успокоившись после событий прошедшего дня, люди смотрели в окна. Некоторые вышли из комнаты, устремив взоры в темное отверстие тоннеля, ведущего на передний двор. Шум и стук приближался. Вскоре из тоннеля показалась подвода, груженая хлебом. Ее сопровождали жандармы. Остановившись среди двора, один из жандармов крикнул:

— Русский, ешь хлеб!

Мы посмотрели на белые буханки хлеба с поджаристой румяной коркой, но не двинулись с места.

— Ловушка, — кто-то сказал позади меня, и другой голос подтвердил:

— Силой накормить хотят.

Жандармы видели, что мы не собираемся брать хлеб, стали его разгружать в кухню.

— Стой мусью! — преграждая путь жандарму, крикнул Иванов и потом спокойно добавил: — Положите хлеб на подводу.

— Что такое? — подбежал второй жандарм, пытаясь отстранить Иванова. Но Иванов, преградив дорогу жандарму, державшему на руках шесть буханок хлеба, так же спокойно продолжал:

— Мерси за услужливость, а хлеб заберите обратно.

Взбешенный спокойствием Иванова, жандарм толкнул его в бок прикладом. Иванов пошатнулся в сторону, но быстро рванулся вперед, ударил по руке жандарма, буханки хлеба полетели под ноги.

— Арестовать! — крикнул старший жандарм.

Люди, наблюдавшие за происходящей у кухни сценой, в этот момент не выдержали. Все знали, что опасность, грозившая Иванову, была опасностью для всех. Первый бросился на выручку Иванова Горячев. Глаза его пылали, лицо еще больше побледнело. Он схватил за плечи жандарма и толкнул в сторону. Жандармы стушевались, держа карабины наперевес, отступали к подводе.

Тем временем Кудинов и Денисов повернули подводу.

— Дышлом в тоннель! — крикнул Денисов. — Шагом марш!

— Гайда, гайда, мусью! — кричал дядя Ваня возчику: — Да не забудьте подобрать буханочки-то! Хлопцы, соберите их! — И дядя Ваня поднял одну буханку.— Ишь ты, яких набрал поджаристых, чтоб душу соблазнить!.. — бросая румяную буханку на подводу, говорил дядя Ваня.

Мы плотным кольцом окружили подводу и жандармов, оставляя свободный выезд к тоннелю.

— Ну, чего стоишь? Поезжай!..—крикнул возчику Горячев и ударил ладонью по лошади. Воз тронулся. Под натиском наступающих русских жандармы отступили за подводой.

— Не плохо придумали, — вытирая лицо рукавом, сказал Иванов.

— Не плохо и мы отделались, — усмехнулся Горячев.

Медленно грузными шагами расходились люди по своим комнатам.

Долго тянулся второй день. Прошла мучительная ночь, настало утро третьего дня, а во рту не было ни крошки хлеба и ни капли воды.

В первые дни ужасно хотелось есть. Потом как бы привыкли, голод ощущался не так остро, лишь в пустом желудке словно черви сосали всю внутренность. Во рту засыхала горячая слюна. Люди становились все молчаливее. Каждый старался заснуть, но сон не одолевал.

Вот кто-то приподнялся, держась за койку рукой, добрался до двери, открыл ее настежь и жадно всасывает свежесть утреннего воздуха, и снова шатаясь идет обратно, ложится на койку. Все повернули желто-бледные лица к открытой двери. Яркое пламя солнца играло на каменных плитах. Где-то щебетали воробьи, ворковали голуби. Каждое утро они прилетали к дверям кухни.

Вот пара голубок, играя в ярких лучах солнца, опустились против дверей нашей комнаты. Они легко прыгнули на порог, посмотрели в комнату, на койки, на неподвижных людей, мягко и нежно заворковали свою мелодию, словно рассказывая нам о красоте июльских дней. Повар, дядя Никанор, тихо повернул голову к двери и его глаза быстро, быстро забегали, наполнились слезинками. Бледные его губы задрожали. Он силился приподняться, что-то сказать, но из груди вырвались только протяжные звуки. Заметив присутствие людей, голубки вспорхнули и поднялись в синеву неба.

Дядя Никанор лежал, ткнувшись лицом в жесткую подушку. Потом он повернулся на спину, заложил руки под голову, устремив глаза в черный заплесневелый потолок. Я смотрю на его обросшее бородой лицо, большой нос и толстые губы. Дядя Никанор что-то медленно и беззвучно шептал.

Некрасов вскочил с койки, в лице его казалось не было ни одной капли крови. Вот он остановился на секунду посреди комнаты, запустил пальцы в свои растрепанные волосы и с отчаянием в голосе простонал:

— Не могу! Не могу! Хлеба хочу, давайте хлеба!.. Не хочу умирать!.. — и беспомощно повалился на пол...

Горячев встал, подошел к Некрасову, положил руки ему на плечи, долго смотрел на вздрагивающее тело, потом тихо сказал:

— Встань. Засни немного. Ты устал...

— Не могу! Не хочу спать! Я есть хочу! Хлеба!.. — рыдая кричал Некрасов. — Я больше не выдержу! Пойду к жандармам просить хлеба...

Некрасов встал и, пошатываясь, направился к двери. Но у двери остановился, оглянувшись, посмотрел на лежав-

ших товарищей и опустил взгляд вниз, уперся плечом в косяк. К нему опять подошел Горячев и укоризненно сказал:

— Ну что же, иди к жандармам. Проси хлеба, а мы... не пойдем...

Некрасов быстро поднял голову, посмотрел на Горячева широко открытыми глазами и, видно, не найдя слов для ответа, понурил голову.

— Стыдися, хлопец, — сказал дядя Ваня. — Ще молодый, а слюни распустил. Я старик и то кажу: лучше умереть, чем сдаватися жандармам.

— Но... поймите! — почти рыдая крикнул Некрасов.

— Понимаемо. Все понимаемо. Ты исти хочешь... а мы хиба ни хочемо? Терпеть надо... це наша борьба!

— Иди полежи, — ласково сказал Горячев. — Заснешь — будет легче.

Некрасов, судорожно вздрагивая всем телом, покорно, понуря голову, как бы стыдясь своей слабости, направился к своей койке и лег вниз лицом.

Еще большим казался третий день голодовки. И вот снова наступили сумерки, страшные и томительные. Черная ночь трауром ложилась в трущобах крепости. Высоко над фортом мерцали звезды. Тишина. В комнатах темно и душно. Рвота подступала к горлу, голова кружилась, в ушах звенело. Ужас охватывал все тело в этой тишине. Каждый старался заснуть, отогнать мучительные думы, скорей дождаться утра. Но сон не одолевал, люди стонали и ворочались на жестких матрацах.

На четвертые сутки люди начали бредить. Иные прислушивались к малейшему шороху, при каждом движении вздрагивали. Иванов долгое время, преодолевая голод, старался держаться на ногах. Каждый вечер, как только начинало смеркаться, он выходил во двор и просиживал на каменной плите долгими часами. Вставал, медленно переступая с ноги на ногу, заложив руки за спину, молчаливый, с напряженными мыслями бродил как тень в полумраке.

Денисов Митя в первый и во второй день голодовки не показывал никакого вида слабости. Но уже на третий день, после случившейся катастрофы с шаргуновцами, его голос постепенно слабел и шутки становились реже. На исходе четвертого дня он не встал с койки. Несколько раз принимался читать книгу и всякий раз бросал ее. Он ворочался с боку на бок, ложился навзничь, подсовывал круглую подушку из жесткой мочалы себе под живот и так

оставался неподвижным по целому часу. Потом поднимал голову, смотрел на дверь, поправлялся поудобнее и опять дремал.

Дядя Ваня без конца проклинал французское правительство. Обычно свои заклинания он начинал как отходную молитву. Ругал президента Пуанкаре, Мильерана, не забывал и батюшку генерала Рампона, и кончал свои заклинания на коменданте форта.

Горячев три дня читал книгу «Камо Грядеши», на четвертый бросил ее, взял старый номер газеты «Юманите» и вслух слабым голосом прочитал сводки о гражданской войне в России. Товарищи повернули головы к нему, им захотелось послушать еще раз прочитанный номер газеты. Но голос Горячева дрожал все слабее и тише. Наконец, Горячев тяжело вздохнул, опустил руки с газетой на свой живот и закрыл глаза.

— Чего замолчал? — глухим голосом спросил Денисов. — Читай...

Горячев открыл глаза, снова развернул газету и долго смотрел на нее.

— Не могу, — тихо ответил Горячев. — Буквы разбегаются.

— Глаза твои разбегаются... вытри слезы-то, яснее станет...

— Слезы? — переспросил Горячев и стал вытирать глаза.

Горячев среди нас был лучшим чтецом. Он суфлировал в театре. Читал он грамотно и понятно, а на этот раз голодовка подействовала на него так, что он не мог читать газеты.

— Товарищи, откройте двери... Душно... — послышался чей-то слабый голос из глубины комнаты.

Денисов приподнялся, опустил ноги на каменный пол и шатаясь поплелся к двери.

Свежая струя воздуха влилась в комнату. Солнце засеребрилось на плитах.

Ужасно медленно тянулся четвертый день. Спина и бока одеревенели. Мочальный матрац казался каменным. Ноги и руки отекали свинцом и были неподвижны. Судорога стягивала жилы. Я изо всех сил старался закрыть глаза и хотя бы немного заснуть, но сон не подступал. Желтые круги прыгали по темной комнате, словно свет прожекторов, на-

правленный со всех сторон. Жажда стиснула рот, язык прилип к деснам. В комнатах образовалась духота. Дышали редко, порывисто.

Вдруг среди мертвой тишины, нарушая покой, начинается сонная перекличка.

— Не дам! Не дам! Братцы, помогите!

И словно по сигналу в другом углу отвечают другие голоса.

— Долой их, предателей!.. Милые деточки... — шепчет дядя Ваня, — мы вас принимаем как друзей!..

И вновь наступает тишина среди тяжелого дыхания, хриплых и порывистых звуков. Не знаю, спал я или так лежал неподвижно, но когда повернул голову к окну, в него врывался серый свет наступающего утра. По пальцам я пересчитал все дни голодовки.

«Пятый»... — подумал я.

В утреннем рассвете за окном показалась чья-то тень. Напрягая свое зрение, я с трудом узнал сгорбившегося Иванова.

Он был без мундира, в одной гимнастерке. Ворот гимнастерки раскрытый. На ногах мягкие самодельные туфли, без шапки. Редкие волосы прядками лежали на широком лбу.

Я смотрел в окно, не сводя глаз с Иванова. Кругловатое лицо его было слишком бледно. Щеки нервно вздрагивали, рыжие усы затенили рот, брови нахмурились и сошлись у переносицы.

«Бедняга... — подумал я, — он еще двигается».

Вот он прошел раз, два. Взглянул вверх, тихо опустился на плиту и положил свою голову в широкие ладони.

Глядя на Иванова, я вспомнил стихи, которые необычно ярко вспыхнули в эту минуту в моем сознании.

Что задумался, брат, приумолк, загрустил
И невесело смотришь вокруг?
Иль ты выбился, бедный скиталец, из сил?
Иль сковал тебя тяжкий недуг?
По ночам ты не спишь, — сны тревожат тебя,
Не дают тебе видно покою:
То во сне ты твердишь чье-то имя, любя, —
То заплачешь о чем-то порою.
Днем ты ходишь угрюм, жадно слухи ловя
О делах за немилой границей;
Об отправке в Россию лишь мыслью живя,
Ты следишь за газетной страницей.

Не печалься, мой бедный, оторванный друг,
Скоро землю покинешь чужую,
И пройдет точно сон твой тяжелый недуг,
Лишь увидишь страну ты родную.
Ждет отчизна тебя с дальних стран, из „гостей",
Как строителя ждет гражданина,
Чтоб над пеплом воздвигнуть усильем детей
Обновленную Русь — исполина.
Так учись же, — готовься к приезду домой,
Богатей же духовно покуда, —
Стыдно будет ведь нам пред родимой страной,
Коли нищими вернемся отсюда.

Наступали сумерки. Надвигалась пятая ночь голодовки. От коменданта не приходило никаких сообщений, Паша не возвращался. «Неужели нас забыли?» Эти мысли силой лезли в воспаленный мозг, тревожили разбитые, ослабшие нервы. «Нет, не может быть, чтобы пятьсот человек похоронили в этом каменном мешке!..» Лишь думая так, становилось немного легче. Рождалась надежда, что добьемся нашей победы.

Всю ночь я не спал, тысячи мыслей одни за другие цеплялись, и в голове становился полнейший хаос. Перед утром я задремал, но вдруг чей-то голос разбудил меня. Я посмотрел в окно на клочок сереющего неба, на котором потухали звезды.

— Пусти, пусти! — кричал глухим голосом Никанор.

Из-за темноты мне не удалось увидеть Никанора. Люди зашевелились. Кто-то чиркнул спичкой. На секунду мутно осветилась комната. Мне показалось, что Никанор вздулся или лежал на чем-то высоком.

— Пусти, говорю! — ворочаясь, стонал Никанор.

— Да какая чертяга тебя душит?.. — спросил дядя Ваня, приподнявшись на койке.

— Пусти руку! Кто держит руку? — продолжал кричать Никанор.

Я подумал, что кровь застыла в артериях и Никанору казалось, что его кто-то душит, но когда Никанор последний раз с ужасом крикнул: «мертвый!» — все встрепенулись, Горячев зажёг спичку, нашел фонарь и осветил комнату. Денисов, лежавший по соседству со мной, встал с койки и подполз к Никанору. Я услышал, как Денисов вскрикнул.

При мутном свете лампы моим глазам представилась страшная картина: Некрасов, повисший на ремне, привязанном к железному крюку под полкой, совсем низко, вытянувшись, навалился на койку Никанора и прижал своим телом его. Денисов мигом обрезал ремень и тело Некрасова рухнуло на пол. С минуту, пораженные ужасом, все стояли, не двигаясь с места. Никанор расправлял одеревяневшую руку. Все молчали. Малодушный, слабосильный Некрасов, недавно заявивший о своей готовности сдаться жандармам, не выдержав — покончил самоубийством.

В форте рассветало. Окружив Некрасова, мы сидели на койках понуря голову, чувствуя за собой вину в смерти Некрасова. Тихо открылась дверь. Струя свежего утреннего воздуха скользнула в комнату. Желто-бледные лица повернулись к двери, воспаленные, бессмысленные глаза людей устремились на вошедшего Иванова. Он был угрюм. Сдерживая внутреннюю тревогу, внешне спокойный, подошел к койке, посмотрел на безжизненное тело Некрасова и перевел свой взгляд на товарищей.

— Не сберегли... — сказал Иванов сквозь зубы.

— Все сдохнем! — вдруг крикнул Семенов. — Долой голодовку!..

Люди заволновались. Весть о самоубийстве Некрасова молнией разнеслась по всем комнатам. Полураздетые, босые, закутанные в одеяло и простыни, сходились пленные смотреть на Некрасова. У всех были страшные желтые лица, безумно блуждающие глаза. И когда где-то за фортом всходило теплое летнее солнце, — Некрасова вынесли на двор и положили на простынь. С обнаженными лохматыми головами люди стояли перед прахом товарища, друга. Страшно и тяжело было смотреть на эту картину. Сердце готово было разорваться на части. Кто-то плакал, тихо всхлипывая.

— Сами себя убиваем! — сказал Семенов. — Мало того, что нас мучают жандармы, мы еще сами себя до самоубийства доводим!..

— Не выдержим голодовку! — поддержал Семенова Рудин. — Шестой день пошел, а говорили — не больше трех продлится. Кончать!..

Ропот негодования прошел среди голодных людей. Казалось, в этот момент все готовы броситься к тоннелю, стучать в железные двери и просить хлеба у жандармов. Событие принимало обостренный характер. Возбуждение массы росло.

— Долой голодовку! Давай хлеба!..

Иванов, стоявший до этого молча, вдруг поднял голову. Его спокойный вид, непоколебимая воля управлять собой заставили замолчать слабосильных крикунов.

— Товарищи! — спокойным, убедительным голосом сказал Иванов. — В смерти Некрасова мы виновны, — это правда. Надо было больше уделить внимания слабым товарищам, поддерживать их... Но это не значит, что надо сдаваться, итти на поклон к генералу Рампону.

— Ты хочешь, чтобы мы все повесились? — крикнул Семенов.

— Нет. Я хочу, чтобы все мы были живы и достигли своей цели! Мы добьемся отправки в Советскую Россию!

— Смерть, смерть! — вдруг раздался чей-то голос.

Все оглянулись. Из бокового тоннеля, соединяющего второй двор с первым, бежал молодой парень. Волосы на его голове сбиты и щетиной торчали вверх, глаза широко открыты, лицо бледное. Правой рукой он размахивал, как бы хватаясь за воздух, стараясь за него удержаться, чтобы не упасть на землю, левой же рукой придерживал штаны.

— Смерть пришла! — орал парень, размахивая рукой.

Иванов быстро выступил вперед, на лету поймал руку парня и дернул его к себе.

— Чего орешь? Какая смерть?..

На секунду парень остановился, посмотрел на Иванова блуждающими глазами и вновь закричал:

— Попов умер!

Я испуганно вздрогнул, в мыслях блеснуло:

«Неужели Попов не выдержал, этот человек исполинского роста, плечистый, с широкой грудью? От его баса, когда он пел в хоре, свечи тухли на сцене, и вдруг голод сломил человека-богатыря».

Неожиданное известие о смерти Попова взорвало всю массу. Люди заволновались. Перед моими глазами мелькали сотни страшных лиц, искаженных мучительной болью, готовых на все, лишь бы спасти себя от голодной смерти.

— К вечеру все умрем! — закричал Семенов. — Нечего ждать! Айда! Кто за мной? Хлеба будем просить!

И он пошел к переднему тоннелю. Дядя Ваня преградил путь Семенову.

— Куда? Стой, хлопец!

Дядя Ваня широко расставил ноги, сжал кулаки. Семенов, увидев страшное лицо дяди Вани, попятился назад.

— Товарищи! — крикнул Иванов, опуская руку парня. — Никакой борьбы не бывает без жертв! Кровь наших товарищей мы понесем на красном знамени освобождения!

Кашель прервал его слова. Иванов тяжело дышал. Он напрягал все свои силы, чтобы сдержать себя. Голодная масса людей, казалось, готовая ринуться за Семеновым, стояла понуря голову. Вдруг Иванов обернулся к тоннелю. Денисов подошел к Иванову, посмотрел на него и тихо спросил:

— Что это?

Иванов ничего не ответил, только пожал плечами и еще больше вытянулся, прислушиваясь к доносившемуся шуму. Люди также насторожились. Некоторые, пошатываясь от утомления и голода, отходили к своим комнатам. У праха Некрасова оставались только Иванов, Горячев и Денисов. Между тем, из переднего двора через тоннель все сильней доносился шум. По каменным плитам стучали каблуки сапог. Отчетливо послышались мужские и женские голоса. Иванов вытянул свои руки вперед и бросился к тоннелю навстречу доносившемуся шуму.

— Паша! — закричал Иванов.

Я качнулся всем телом вперед, пытаясь броситься навстречу Кострову, но остался недвижимым, — ноги отказывались служить.

Иванов и Костров стояли в объятиях друг друга. Рядом с ними с корзинкой в руках стояла женщина. Ласково улыбаясь, она смотрела то на одного, то на другого.

— Нелли, — сказал я, напрягая силы, чтобы встать на ноги. И не успел я сделать одного шага, как Паша и Нелли стояли уже возле меня.

— Ну, как? — улыбаясь говорил Паша, но увидев распростертого Некрасова, нахмурил брови.

— Умер?..

Нелли долго смотрела на желтое неподвижное лицо Некрасова. Она знала его как участника драмкружка и лучшего танцора.

На глазах Нелли появились слезинки, которые скатились по ее смуглому лицу.

— Сколько? — тихо спросил меня Паша.

— Двое, — через силу ответил я.

— Ну, пошли в комнату. Нелли, приготовь для него оздоровительного.

Паша, поддерживая меня, провел в комнату. Нелли налила кружку молока и подала мне. Дрожащей рукой я схва-

тил кружку с молоком и медленно, но жадно пил. Нелли налила вторую и достала ломтик белого хлеба.

Комната наполнилась французами. Мужчины и женщины с узелками и корзинками раздавали русским булки, молоко, яйца. Невыразимый восторг радости блестел в глазах пленных. Заботливо, с материнской теплотой, ухаживали женщины за русскими. Мужчины братски пожимали им руки. Грозные, с нахмуренными бровями шагали по двору жандармы, но мы в этот момент не обращали на них внимания.

— Паша! Как это случилось?.. Даже мне не верится!..

— А ты ешь, потом узнаешь и поверится всему, — смеялся Костров.

Я взглянул на Нелли. Ее смуглое лицо улыбалось, глаза блестели нежной радостью.

— Скажи спасибо Паше, а то бы вам...

— Каюк...— подсказал Паша и добавил: — Нет, спасибо — Нелли.

— Так кому же спасибо?

— Всем!.. Всем спасибо! Нашим французским камрадам спасибо.

Паша прыгнул на табурет и громко крикнул:

— Товарищи! Кто подкрепил свои силы... послушай!

В комнате стихло.

— Нелли, читай — продолжал Паша.

Нелли достала газету, развернула ее и стала читать по-русски. Известие, которое было в газете, настолько обрадовало нас, что люди забыли и про голодовку. Оно было всего лишь в нескольких словах, но настолько взволновало нас, что многие от радости заплакали. А писалось вот о чем: «В июле месяце начинается отправка русских армейцев и военнопленных из Франции в Советскую Россию. Уже первая партия погрузилась на пароход в Марсельском порту. Русские будут отправлены на территорию Советской России в город Одессу». Вот и все. Однако сколько жизни влили эти строки в истерзанных, несчастных людей — скитальцев по чужбине. Мы со слезами на глазах от радости целовали друг друга и дорогих французов.

В каждой комнате шли оживленные разговоры. Крестьяне, раздавая свои принесенные продукты, говорили русским о скорой отправке в Советы.

Нелли долго беседовала с нами. Денисов, Горячев и дядя Ваня внимательно слушали ее. Она рассказывала, как они с помощью французских товарищей-коммунистов орга-

низовали крестьян. А в это же время в городе Лангр рабочие на многих заводах объявили забастовку в знак солидарности с нами. Они требовали от властей немедленного принятия мер к прекращению голодовки с удовлетворением требования русских пленных.

В комнату вошел Иванов. Его глаза пылали радостью. Он еще раз по-товарищески крепко пожал руку Паше и Нелли.

— Садитесь, Петр, вы устали, — сказала ему Нелли.

— О нет, товарищ Нелли, теперь я вновь здоров и хватит силы для новой борьбы.

— Да, ваша борьба впереди, когда вы будете на советской земле, — с задумчивостью добавила Нелли.

— Отомстим врагам за все наши мытарства! — воскликнул Паша.

— Ты уж больно горячий, — смеялась Нелли.

— Если бы не он, не знаю, что бы с нами было, — сказал Иванов. — Поймите, шестой день, никакого ответа...

— Да, это правда. Мы могли и не знать, что вы объявили голодовку. Жандармерия и власти сумели бы свое преступление скрыть. А разве мудрено это сделать?... — говорила Нелли. — Они бы просто объявили, что в крепости свирепствует тиф или какая другая заразная болезнь. Мол, русские мрут. Ну, и все. Но когда рабочим и крестьянам растолковали наши товарищи-коммунисты истинную правду, — они сразу поняли, какая опасность грозит русским. Город и весь Лангрский округ только и говорили о русских, а рабочие объявили забастовку. Крестьяне многих деревень организованно обступили форт с требованием передать продукцию русским. Генерал испугался и дал распоряжение коменданту пустить в форт. Но мы на этом не остановимся, — успокоимся тогда, когда узнаем, что генерал удовлетворил ваше требование полностью.

— Спасибо, Нелли. Спасибо! — сыпались одобрительные голоса.

— Это наш пролетарский долг! — возбужденно воскликнула Нелли. — Борьба ваша — борьба наша, у нас с вами один общий враг!

Жандармерия с нетерпением шагала по двору, уже начала выгонять французских товарищей.

— Ну, прощайте! Нет, лучше до свидания!

Нелли на прощание пожимала руки товарищам.

В комнате слышались голоса прощания на русском и французском языках.

Мало-по-малу комнаты опустели. Французские гости, крепко пожимая руки, уходили из форта через передний тоннель.

В этот же день, поздно вечером, комендант заявил, что весь провиант получен. Требование русских генерал Рампон удовлетворил. В двенадцать часов ночи, после пяти дней голодовки, мы сварили обед, а на другой день, рано утром сержант наклеил на стенке приказ генерала.

„С двенадцатого июля сего года разрешаю выдавать пропуска русским для выхода из форта на прогулку ежедневно не более двадцати человек, а по воскресным дням — сорок человек.

Для сохранения спокойствия и наблюдения за порядком полицейские посты заменяются солдатами. Коменданту форта приказываю все внутренние посты охраны снять, оставив наружные — не более трех постов.

Главнокомандующий Лангрского округа генерал *Рампон*".

Паша и я только что вернулись с прогулки. Не заходя в комнату, Паша направился в кухню, чтобы по дороге захватить кофе. Я вошел в комнату, достал хлеб, приготовил кружку и ждал Пашу. На дворе в это время поднялся необычайный шум. Люди из комнат все рванулись на двор к выходному тоннелю. На ходу сталкивались друг с другом, бежали дальше. Не успел я выйти на двор, как в самых дверях столкнулся с Пашей. От сильного толчка мы даже разлетелись в стороны. Я ударился о дверь.

— Ты что, с ума сошел что ли! — обругал я Пашу.

Вместо ответа Паша схватил меня и неожиданно поцеловал.

— Едем! Едем! — закричал Паша и запел:

Шуми, шуми зеленый лес,
Сильнее ветер дуй,
Чтоб было на сердце легко,
Избавь от мрачных дум.
Как тяжело в стране чужой
Нам ждать счастливых дней!
Умчи ты нас, умчи скорей
Туда, где мир чудес.
Умчи туда, в далекий край,
На север к холодам,
К полям родным, на родину,
Где вольно будет нам.
Свободно мы тогда вздохнем,
Отчизна наша там...
Скорей, скорей отсюда нас
Умчи ты в милый край.

— Едем! Едем! — кричал Паша, увлекая меня к тоннелю. Там на стенке белелась только что наклеенная бумажка. Люди, толпившиеся около нее, задирали головы вверх, тянулись, каждый старался прочитать объявление.

— Что там? — неслось со всех сторон.

— Едем! Едем! — раздавались голоса по всему двору. Люди хватали друг друга, крепко обнимались, от радости целовались.

С трудом мне удалось пробраться вперед и прочитать:

„Завтра, двадцать шестого августа 1920 года, русские форта де-Плесноу выходят на станцию Плесноу с вещами, где будут грузиться в вагоны для отправки в Советскую Россию. Приказываю все казенное имущество оставить в форту в полной исправности.

—Командующий Лангрским округом генерал *Рампон*."

Гремит оркестр, танцует молодежь. В последний раз несутся русские песни с вершины форта в бесконечные равнины. В комнатах кипит работа.

— Дядя Ваня, ты что, готов?

— Ожидаю команды! — торжествующе отвечает дядя Ваня.

— Какой команды?

— Гм. Какой... Строиться!

— А спать-то разве не будешь ложиться?..

— Какой сон. Теперь не до сна.

До утра было еще несколько часов, но во всех комнатах горели огни. Каждый упаковывал свои вещи. Иные ходили по вершине форта. Смотрели на восток, с нетерпением ждали рассвета. Горячев старательно разбирал декорацию. «Ни одной тряпки не оставлю! — твердил он. — Наше, все сами, своими силами приобрели, даром не доставалось».

Ровно в восемь часов утра мы покинули мрачные тоннели форта де-Плесноу.

Маленькая станция Плесноу еще до прихода нас была запружена французами. Со всех сторон неслись радостные крики и приветствия. Горячо они пожимали наши руки. Под несмолкаемые возгласы «ура» и крики «Да здравствует Советская Россия!» — мы погрузились в вагоны. Нам бросали подарки. И вот — второй звонок. Иванов встал посреди дверей товарного вагона, говорит, обращаясь к французам, а Нелли переводит его слова.

— Товарищи французы! Нас не сломил голод. Не покорил нашей воли и враг, мы едем в страну Советов, полные новых сил! Долго мы ждали этой счастливой минуты,

томимые тоской о родине! Русский пролетариат свергнул деспотизм, разрушил старый гнилой строй и, добивая последние остатки белогвардейщины, создает новое, социалистическое государство! Прощайте, товарищи! Мы уедем, храня в своих сердцах нашу любовь к вам, вечно будем помнить нашу дружбу с вами! Вы принимали нас в своих бедных квартирах как родных, вы помогали нам в нашей борьбе. Нет силы выразить вам словами нашу искреннюю благодарность! — Иванов на секунду остановился, посмотрел кругом и продолжал: — Товарищи! Крикнем громкое «ура» в честь нашей вечной дружбы с товарищами французами!

Громкое «ура» прокатилось по перону.

— Мы едем в Советы, — продолжал Иванов, — и встанем в ряды великой пролетарской Красной армии!

— Ура! Ура! — снова гремит на пероне.

Последний звонок. Поезд трогается. Нелли бежит за вагоном, пожимает руку Паше и в последний раз кричит:

— Да здравствует мировая Красная армия! Да здравствуют Советы.

Снова «ура». В воздухе мелькнули сотни платочков. Поезд тронулся, набирая быстроту.

Непонятные чувства овладели мной, когда остались позади прощальные крики французов. Тревогой и радостью наполнились мысли. Как бы еще не верилось тому, что мы едем на родину, на свою советскую землю. Помимо воли зарождалась мысль: «Не обманули бы». Много наших товарищей, под предлогом отправки в Советскую Россию, попали в Африку, в Салоники. Дрожь прошла по телу, когда я взглянул и увидел угрюмый и грозный форт де-Плесноу, оставшийся позади нас.

За четыре дня езды от Лангра до Марселя наш состав первоначально из тринадцати вагонов вырос потом до сорока. На каждой большой остановке к нашему составу прицепляли вагоны, груженые русскими пленными. Мы спешили коротко познакомиться с ними, узнать: из какого лагеря, как они жили, как боролись за свое освобождение.

Зная, что теперь везут в Советы, настроение людей было приподнятое. Из вагонов далеко мчались вместе с гулом колес русские песни. На станциях наши затейщики открывали пляску. Везде и всюду французский пролетариат торжественно и радостно встречал и провожал нас. Гром-

кие возгласы неслись вслед за удалявшимся поездом: «Да здравствует Советская власть!».

Марсельских улиц нам не пришлось видеть. Рано утром поезд подошел к самому порту. Длинной цепью проходили мы под стеклянной крышей пристани. Комитет помощи французских пролетариев организовал нам подарки. Каждый из нас получил коробку монпансье, пачку папирос и кусок туалетного мыла. Французское правительство на прощание тоже «сдобрилось» и выдало нам на каждого по комплекту русского обмундирования. Это обмундирование мы решили погрузить на пароход и привезти в подарок Красной армии.

На следующий день в десять часов утра полностью закончилась погрузка парохода. Четыре тысячи русских разбрелись по корпусам морского гиганта, а большая часть оставалась на палубе, ожидая отхода парохода.

Раздался второй свисток парохода. На пристани появляются бастующие портовики. Сначала их было немного, но потом они запрудили всю пристань. Мы высыпали на палубу. Пароход дал крен...

С пристани доносились голоса:

— Да здравствуют русские товарищи!

Иванов, выступая вперед, крикнул:

— Покидая берега буржуазной Франции, мы едем на борьбу с капиталистами, полные мужества и силы. Французская буржуазия не сумела сломить нас. Прощайте, товарищи!

С пристани отвечали дружные голоса рабочих.

Третий свисток. По приказанию капитана матросы спешно отдают концы. Освободившись от якорей, пароход, плавно покачиваясь на тихой воде, отделился от пристани. Черные клубы дыма рванулись из трубы и, высоко поднимаясь, таяли в тихой, безоблачной синеве неба. Дрогнул корпус парохода, застучали машины. Вот он дал полный ход, впереди открытое море и где-то далеко-далеко родные советские берега. Позади оставались черные дни кошмарного скитанья.

На третье утро, когда солнце только что показалось откуда-то из моря, на палубе задребезжал колокол. Люди, протирая глаза, спешили из трюма наверх, на палубу. Впереди высоко вздымались черные клубы дыма, застилая все побережье каменных гор. Дым плавно спускался к морю.

Это дышал Везувий. С правой стороны красовалась тихая, цветущая в зелени, Сицилия.

Обогнув итальянские берега, пароход вошел в Средиземное море. Извиваясь между каменных скал, прошел исторические Дарданеллы, скользнул мимо Константинополя, врезался в Босфорский пролив и поздней ночью вышел в открытое Черное море.

Словно туман вылезает из моря далекий берег. На горизонте виднеются серые скалы.

— Земля! Наша земля!..

В трюмах пусто, а на палубе давка. На лестницах плотной стеной стоят люди, вглядываясь вперед. Палуба не вмещает четырех тысяч человек, а люди не терпят, — они хотят видеть свои советские берега.

— Земля! Земля!

На горизонте в двух местах, как из моря, стоят столбы дыма. Вот они все выше и выше. На палубе новые возгласы:

— Суда! Наши суда едут встречать!

Сердце усиленно бьется. Лицо пламенеет. Возбужденные глаза устремлены вперед на приближающиеся суда. Острый нос парохода с шумом рассекает седые волны. Весь корпус его вздрагивает. Волны свирепо налетают на стальные борта и с грохотом откатываются в сторону. Корабль на полном ходу. Однако мысли быстрее летят. Они уже на берегу, на родной и свободной земле!

— Скорей, скорей!

Еще ни разу за весь путь не казалось нам, что пароход идет так медленно. И люди, сгорая от нетерпенья, кричали:

— Скорей! Скорей!

Наконец, вот они, два миноносца. На них развеваются красные флаги.

— Наши! Ур-а-а!

Эхо замирает в морской дали. Миноносцы ведут наш корабль в Одесский порт. Белеют залитые солнцем дома. Кругом на мачтах и на пристанях, на домах блещут красные полотна советских знамен. Что там? Точно огненная лавина сползает с берегов к пристани. Движется, движется бесчисленная масса с тысячью развевающихся полотнищ, словно с пылающими языками пламени. Гремят оркестры.

Из глаз брызнули слезы. Сердце вырывается из груди и кажется вот-вот оно разорвется на части. На второй палубе французские солдаты, сенегальские стрелки, словно

по команде застыли. Но среди них не видно офицеров, — они сидят в каютах, они боятся моря красных знамен, а солдаты стоят смирно, отдают честь красным знаменам. Звуки «Интернационала» врываются в воспаленный мозг, зажигают кровь в сердце.

Все слилось, все смешалось в одно целое. Знамена, оркестры, красноармейцы в шлемах с красной звездой и тысячи, тысячи одесского пролетариата.

Вот на трибуне появляется человек в кожанке и с красной звездой на околыше. Его торжественные слова, речи тонут в тысяче возгласов «ура»!.. Появляется Иванов. Позади его стоит дядя Ваня и Костров Паша. Гром аплодисментов встретил первые слова Иванова. Со слезами на глазах он говорит:

— Товарищи! Мы прошли великую школу тиранства, издевательства в концентрационных лагерях капиталистических стран. Нас заставляли работать на буржуазию, — мы отказались. Нас заставляли идти в легионы против красных, — мы отказались. Нас держали за проволокой, за каменными стенами. Морили голодом, клеветали на нас, считали бандитами, — мы боролись и доказали всему французскому пролетариату, что мы за люди. Мы сумели завоевать огромную симпатию рабочих и крестьян Франции. Они с нами! Французский пролетариат на прощание нам поручил защищать Советскую власть. Мы обещали это сделать. Товарищи, я думаю, что редкий кто из нас поедет домой. Мы пополним ряды нашей Красной армии!..

Последние слова Иванова утонули в раскатах «ура» и в грохоте аплодисментов. Вперед выступает дядя Ваня. Он волнуется, из-под густых бровей смотрит пара искрящихся глаз, бледное лицо скрыто в черной с проседью бородке. Губы его дрожат, дрожит голос.

— Я стар! — взволнованно и возбужденно начинает дядя Ваня. — Да, я стар. Два года сидел в окопах при царской армии, защищал буржуазию. Один год пробыл в плену в Германии, и два во Франции. Но я умею еще драться с врагами, с вами иду в ряды Красной армии!..

Больше ему говорить не дали. Его слова заглушил восторг людей. Под гром аплодисментов, радостных рукопожатий спустился он, веселый и гордый, с трибуны.

— Да здравствует Советская власть! Да здравствует Красная армия!

И снова громкие крики «ура».

Рабочие, красноармейцы, дети и женщины окружили

нас. Все радостно приветствовали, горячо пожимали нам руки.

Вот одна бабушка подошла к Паше Кострову, на глазах у нее проскальзывали слезинки.

— Сыночек мой, настрадался... — лепетала бабушка, утирая слезы.

— Я ведь не твой сыночек, бабушка, — смеялся Паша.

— Все равно, батюшка. На-ко возьми яблочко. Поди не приходилось в чужой-то сторонке и яблочка скушать. — И бабушка засуетилась, развязывая узелочек. — На, сыночек, оно сладенькое! По яблочку передай товарищам. Тут пирожок с вишнями. Сам съешь.

Бабушка отдала Паше все содержимое узелка, посеменила дальше.

Автомашины, с трудом пробивая дорогу, увозят наши вещи. Мы строимся по четыре в ряд. Впереди красноармейцы. Сверкают трубы оркестров, вьются знамена.

Высоко поднимая голову, твердо выбивая шаг в такт музыки, — дядя Ваня несет красное знамя.

Вдоль Пушкинской улицы бесконечной шпалерой выстроились одесские рабочие. Они тепло и радостно встречали нас, пленников чужбины, вернувшихся на свою счастливую родину.

Редактор *Д. Г. Прокофьев.*
Тех. редактор *Ф. В. Жуков.*
Корректор *А. С. Солодова.*

*

Сдано в набор 28/I 1937 г.
Подписано к печати 29/III —
16/IV 1937 г. Тираж 5200 экз.
Формат 82×110/32. Бумага Окуловской ф-ки. Бум. л. 3 Печ. л.
12. Уч.-авт. л. 10,1. В бум. л.
146432 зн. Изд. № 2. Инд. Х-1-6.
Уполн. Ивоблита № В-502.

Типография издательства Ивановского обкома ВКП (б).
Г. Иваново, Типографская,
Заказ № 678.

Цена 3 р.
Переплет 75 к.

3 руб. 75 коп.